

ГЕОРГИЙ ИВАНОВ

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

*Федеральная
программа книгоиздания
России*

ГЕОРГИЙ ИВАНОВ

Собрание сочинений в трех томах

Москва
«Согласие»
1994

ГЕОРГИЙ ИВАНОВ

Собрание сочинений в трех томах

Том первый

Стихотворения

Москва
«Согласие»
1994

ББК 83. 3Р7
И 20

Составление, подготовка текста, вступительная статья
Е. В. ВИТКОВСКОГО

Комментарии
Г. И. МОСЕШВИЛИ

Редактор
В. П. КОЧЕТОВ

Художник
Т. Н. РУДЕНКО

Руководитель программы «Согласие»
В. В. МИХАЛЬСКИЙ

И $\frac{4702010106-002}{8Д1(03)-93}$ Без объявления

ISBN 5-86884-023-2 (Т. 1)
ISBN 5-86884-022-4

Легенда не ошибается, как ошибаются историки, ибо легенда — это очищенная в горниле времени от всего случайного, просветленная художественно до идеи, возведенная в тип сама действительность.

П. Флоренский

Георгий Иванов слагал легенды о современниках и стихи.

Современники, в свою очередь, слагали легенды о Георгии Иванове. Например, о том, что он пишет мемуары — насквозь лживые (вариант: на редкость достоверные). О том, что он в поэзии — ничтожный эпигон (вариант: только прочтя стихи Георгия Иванова, можно оценить всю ограниченность дарования Ходасевича и даже Блока). О том, что место его в литературе — на свалке (вариант: на пьедестале). Еще в начале тридцатых годов в ответ на все эти легенды Георгий Иванов задал далеко не риторический вопрос:

Все мы герои и все мы изменники,
Всем, одинаково, верим словам.
Что ж, дорогие мои современники,
Весело вам?

И собственную жизнь, и свою поэзию Георгий Иванов сумел обратить в легенду. По его словам, «дело поэта — создать «кусочек вечности» ценой гибели всего временного — в том числе нередко и ценой собственной гибели». С опозданием на несколько десятилетий ивановский «кусочек вечности» стал достоянием и нашего читателя.

* * *

В одной из знаменитых сказок Андерсена разыгралась чудесная буря, которая перевесила вывески. Буря середины восьмидесятых перевесила большинство вывесок в русской литературе XX века. Сменилась вся система ценностей.

26 августа 1958 года на юге Франции скончался поэт Георгий Иванов. Рука литературоведа (В. Орлова), не дрогнув, начертала над ним: «Лощеный сноб и ничтожный эпигон». Это в СССР. А в русском зарубежье? Там говорили:

«Этот жуткий маэстро собирает букеты из весьма ядовитых цветов зла»[1]. Один отзыв стоит другого. Но были и ценители. Поэты «парижской ноты» считали Г. Иванова лучшим среди «своих», а «своим»-то он для них как раз не был. А те немногие, кто ценил его в пятидесятые, шестидесятые, семидесятые годы в СССР, предпочитали молчать, резонно полагая, что за лишние похвалы эмигранту можно и на свою дверь получить «вывеску» (а то и табличку и номер, что случалось, если неуемный ценитель ненароком отстукивал на пишущей машинке стихотворения Г. Иванова в количестве, превышающем один экземпляр). Большинство же «здесь» его просто не знало — разве только по ранним сборникам, порой попадавшимся на прилавках букинистических магазинов по очень доступным ценам. Правда, в годы «оттепели», когда русские книги нет-нет да и проскальзывали в СССР из-за рубежа вполне легальным почтовым путем, проникло в наши края и несколько экземпляров поэтических книг Иванова, изданных в эмиграции. Лет за пятнадцать их «тиражирование» с помощью пишущих машинок ввело позднего Георгия Иванова в самиздатский круг чтения. К середине семидесятых годов отношение к «лощеному снобу» и автору «желтопрессных мемуаров» стало быстро меняться. Близкий автору этих строк писатель, один из лучших русских поэтов последних десятилетий, в начале семидесятых еще отзывался о Г. Иванове «эстет», «эпигон», а уже спустя пять-шесть лет знал наизусть полсотни его стихотворений и очень часто говорил словами Иванова о собственной судьбе: «Мне говорят — ты выиграл игру...»

Георгий Владимирович Иванов родился 11 ноября (29 октября ст. ст.) 1894 года в Студенках Ковенской губернии. Писать он начал рано: сбереглась изрядная пачка его «первых стихотворений», из которой, к счастью, ни одна строка позднее в печать не попала. Юность поэта прошла в Петербурге, однако Кадетский корпус, из которого он «выбыл» в 1912 году, никакого заметного отпечатка на его поэзию не наложил. Но дебют его в печати даже по тем временам был весьма ранним: в 1910 году в первом номере журнальчика «Все новости литературы, искусства, театра, техники и промышленности» Г. Иванов опубликовал стихотворение «Инок» («Он — инок, он — Божий...»); в том же номере под псевдонимом Юрий Владимиров находим его первую, по всей видимости, литературно-критическую статью-рецензию, где пятнадцатилетний поэт разбирал, ни много ни мало, «Собрание стихов» З. Гиппиус, «Кипари-

[1] Такое «мнение» (автор его не назван) приводится в статье Р. Гуля (в кн.: Иванов Г. 1943—1958. Стихи. Нью-Йорк, 1958, с. 4).

совый ларец» И. Анненского и «Стихотворения» М. Волошина.

Поэту шел шестнадцатый год, а среди его знакомых, тем не менее, уже были М. Кузмин, И. Северянин, Г. Чулков. Известно, что 5 марта 1911 года какую-то из своих книг надписал в подарок Иванову Блок[1]. О визите Г. Иванова к Блоку 18 ноября 1911 года имеется запись самого Блока. По меньшей мере десять лет был знаком лично Г. Иванов с поэтом, чье влияние — хотя и в очень неожиданной трансформации — решило в конечном счете его собственную поэтическую судьбу. Круг друзей у очень общительного в те годы юноши был велик. Из отложившегося в его душе осадка — некогда бывшего смерчем знакомств, слухов, личных и чужих впечатлений — как раз и возникло то самое, за что Георгия Иванова многие позже столь яростно невзлюбили: «Петербургские зимы», стихи, да и почти все написанное им до конца жизни. Да, многим то, что он писал, не нравилось. Прежде всего, написанное в 1910-е годы не нравилось ему самому. Он искал себя — и часто делал это на первых порах неудачно.

Для начала он стал печататься где попало, даже в легендарном журнале «Весна» (В. Ходасевич в очерке «Неудачники» утверждал, что издававший этот журнал Н. Шебуев не только не платил гонораров, но заставлял самих авторов платить ему). Печатался Иванов в «Нижегородце», эгофутуристическом — но и ярмарочном — «органе». В «Шиповнике» (журнал того же Шебуева). В «Gaudeamus'е». В «Ежемесячном иллюстрированном всеобщем журнале литературы, искусства, науки и общественной жизни». В «Ниве». В «Аргусе». В «Сатириконе». В «Рубиконе». И — в акмеистическом «Гиперборее», и — в благородном «Аполлоне». И — в очень дурно пахнущем «Лукоморье». И... да где только не печатался! Лучше бы, честно говоря, половине публикаций «жернов на шею», чем «в свет к читателю». Но и отзывы о творчестве Г. Иванова с самого начала десятых годов и до наших дней в абсолютном своем большинстве не радуют ни глубиной анализа, ни даже остроумием. Иванова или безоглядно бранили — безразлично, с футуристических ли, с вульгарно-социологических ли позиций — или захваливали в его поэзии то, что далеко не всегда составляло ее истинные достоинства. Серьезные статьи о его творчестве и по сей день можно сосчитать по пальцам.

Отзывов на его книги имеется куда больше, чем нужно было бы для анализа самому дотошному исследователю.

[1] См.: «Литературное наследство», т. 92, кн. 3. М., 1982, с. 150.

Первая книга Г. Иванова «Отплытье на о. Цитеру», вышедшая в последние дни 1911 года[1],— т. е. по выходе книги Иванову едва исполнилось семнадцать лет! — была отмечена рецензиями Брюсова, Гумилева, Лозинского. Брюсов писал сдержанно: «Он умеет выдержать стиль, находит иногда изысканные милые стихи, но самостоятельного пока не дал ничего. Как всем молодым поэтам, г. Иванову наиболее удаются описания природы»[2]. Значительно глубже и серьезней отнесся к первенцу Иванова Михаил Лозинский в акмеистическом «Гиперборее»: «Небольшой мир, раскрываемый в этой книге, только спутник старшей планеты — поэзии Кузмина. Но своеобразный голос, которым ведется рассказ об этом мире, убеждает нас, что творчество Георгия Иванова сумеет выйти на самостоятельный путь и двигаться по нему уверенно»[3]. Н. Гумилев в «Аполлоне», пожалуй, один лишь сумел оценить то истинно ценное, что наличествовало в поэзии Иванова на ее кузминско-северянинском этапе: «Первое, что обращает на себя внимание в книге Г. Иванова,— это стих. ⟨...⟩ Поэтому каждое стихотворение при чтении дает почти физическое чувство довольства. Вчитываясь, мы находим другие крупные достоинства: безусловный вкус даже в самых смелых попытках, неожиданность тем и какая-то грациозная «глуповатость», в той мере, в какой ее требовал Пушкин»[4]. Имелся еще отзыв «своего брата» эгофутуриста (период сей в творчестве Иванова был столь краток, что вряд ли стоит пристального внимания) — Ивана Игнатьева. Отзыв восторженный, как в северянинских кругах считалось единственно возможным, за одним исключением: Игнатьев (Ивей) отметил «нежелательное, заметное следование М. Кузмину, Вячеславу Иванову, Александру Блоку»[5]. Сам того не ведая, Игнатьев первым заметил синкретическую природу поэзии Иванова — время центонов пришло для нее позже, а синтез вместо синкретизма стал в ней возможен лишь в последние десять-пятнадцать лет жизни поэта.

Из сорока стихотворений «Отплытья на о. Цитеру» двадцать три вошли позднее в «ювенильный» сборник «Лам-

[1] На книге как год издания проставлен 1912-й, но на экземпляре, хранящемся в библиотеке Института мировой литературы РАН, есть автограф с датой — декабрь 1911 г.
[2] «Русская мысль», 1912, № 7, с. 21—22 (второй пагинации).
[3] «Гиперборей», 1912, № 3, с. 29—30.
[4] «Аполлон», 1912, № 3/4, с. 101.
[5] «Нижегородец», 1912, 14 янв.

пада», которым в начале 1920-х годов Г. Иванов открывал свое несостоявшееся «Собрание стихотворений». Стихи переделывались, менялись заголовки, посвящения. Все время возникали новые произведения. И уже весной 1914 года полноправный член «Цеха поэтов» Георгий Иванов издал вторую книгу стихотворений — «Горница». Откликов на нее в печати появилось очень мало — началась война. Отзыв будущего «главного имажиниста» Вадима Шершеневича — одаренного поэта, но человека в литературной критике феноменально слепого — в известной мере предвосхитил одну из форм отношения к поэзии Г. Иванова, бытовавших до недавнего времени: «Я думаю, что стихи Г. Иванова просто ненужная книга»[1],— а мнение свое аргументировать критик «затруднялся». Но Гумилев в «Письмах о русской поэзии» снова нашел точные слова для характеристики именно этой книги Иванова: «Он не мыслит образами, я очень боюсь, что он вообще никак не мыслит. Но ему хочется говорить о том, что он видит»[2]. Гумилев верно распознал ивановский «инстинкт созерцателя». Молодой поэт еще только учился *смотреть и видеть*, пора зрелости и синтеза для его поэтической души была далеко впереди, а его уже ругали (справедливо, но непрозорливо) за отсутствие глубоких мыслей. Их и не могло быть у юного стихотворца, подобно герою «Черной кареты» как раз больше всего переживавшего, что вот никак не может он начать писать стихи лучше, чем прежде («У меня со стихами нелады»[3] — из письма к А. Д. Скалдину от 16.VIII.1911 г.).

Но грянула первая мировая, и в бряцании ура-патриотических кимвалов родился «Памятник славы», весьма жалкое и очень «лукоморское» — см. «Китайские тени» в нашем издании — детище. Лишь одно стихотворение перенес Г. Иванов из этой книги позднее во второе издание «Вереска» (как бы «второй том» несостоявшегося «Собрания стихотворений», воспроизводимый в нашем издании), еще пять — в «Лампаду», от всех прочих отрекся навсегда. Отзывов на книгу по военному времени появилось немного, но были они знаменательны. Сергей Городецкий, второй (после Гумилева) «синдик» «Цеха поэтов» — незадолго до того, впрочем, распущенного,— был от книги в исступленном восторге: «В книжке Г. Иванова почти не найти технических недостатков» (высшая акмеистическая похвала.— *Е. В.*),— и продолжал в том же духе, варьируя более ранние слова Гумилева: «Изобразительная сторона порой очень ему

[1] «Новая жизнь», 1914, № 10.

[2] «Аполлон», 1914, № 1. Цит. по изд.: Гумилев Н. Соч. в трех томах. Т. 3. М., 1991, с. 142.

[3] «Литературное наследство», т. 92, кн. 3, с. 386.

удается»[1]. Изобразительности у Г. Иванова и вправду было с избытком, но думается, что «Памятник славы», книга «датских» стихотворений, т. е. стихотворений «к датам» (как до недавнего времени называли подобные стихи в советских газетах на редакционном жаргоне), появился на свет не без солидных гонораров «Лукоморья». Книгу ничуть не спасала прекрасная обложка работы Егора Нарбута. Но интересно, что именно на это уродливое творение Иванова откликнулся рецензией А. Тиняков (ниже о нем будет сказано подробно): «Литературное дарование Г. Иванова представляется нам столь же несомненным, как и скромные размеры этого дарования. 〈...〉 Г. Иванову не хватает ни поэтической силы, ни вкуса»[2].

Тиняков, именно Тиняков брался быть для «Памятника славы» «судьей вкуса» — и был прав: Г. Иванов кричал «ура» недостаточно громко для истинного «патриота», каковым сам Тиняков становился, если платили.

Уже в самом конце 1915 года Г. Иванов выпустил свой последний дореволюционный сборник — «Вереск» (на титульном листе — Пг., 1916). Недостатка в рецензиях не было: попривыкнув к затяжной войне, Российская империя праздновала свои последние «именины». Городецкий пришел от «Вереска» в ярость. «По-видимому, этот поэт собрал жатву стихотворной работы в предыдущей своей книге «Памятник славы», где он много сильнее, чем в «Вереске». В «Памятнике славы» звучит голос юноши, которого события сделали взрослым. В «Вереске», наоборот, есть что-то старческое, желающее помальчишествовать. 〈...〉 Если это не искренно, это противно. Если искренно — и того хуже»[3]. Отозвался на книгу и Гумилев — в последний раз, мысль он развивал прежнюю, глубоко верную, как показало все последующее творчество Иванова: «Почему поэт только видит, а не чувствует, только описывает, а не говорит о себе, живом и настоящем?» — и добавлял в конце отзыва: «Мне хотелось бы закончить этот краткий очерк вопросом, для того, чтобы поэт ответил мне на него своей следующей книгой. Это не предсказание. У меня нет оснований судить, захочет и сможет ли Георгий Иванов серьезно задуматься о том, быть или не быть ему поэтом, то есть всегда идущим впереди»[4].

Прозрение Гумилева было верным по сути, но весьма робким. Куда острей и точней оказался отзыв Ходасевича —

[1] «Ежемесячное приложение к «Ниве», 1915, № 7.
[2] «Новый журнал для всех», 1915, № 9, с. 59—60.
[3] «Лукоморье», 1916, № 18, с. 16.
[4] «Аполлон», 1916, № 1, с. 27.

о нем еще придется говорить отдельно,— а также убийственный по бесспорности (на 1916 год) приговор В. М. Жирмунского: «Нельзя не любить стихов Георгия Иванова за большое совершенство в исполнении скромной задачи, добровольно ограниченной его поэтической волей. Нельзя не пожалеть о том, что ему не дано стремиться к художественному воплощению жизненных ценностей большей напряженности и глубины и более широкого захвата, что так мало дано его поэзии из бесконечного многообразия и богатства живых жизненных форм»[1].

Гумилев отозвался тревожно, Жирмунский — сочувственно, но пессимистически, Ходасевич — с сомнением. А в целом дореволюционному периоду творчества окончательный приговор вынес сам же Георгий Иванов много лет спустя в письме к Роману Гулю (от 10.III.1956 г.): «...Вы в моей доэмигрантской поэзии не очень осведомлены. И плюньте на нее, ничего путного в ней нет, одобряли ее в свое время совершенно зря»[2]. Георгий Иванов (сорок лет спустя) был прав, но лишь отчасти. Прозорливые люди (Гумилев и Ходасевич прежде всего) видели поэзию Иванова в правильном свете: перед ними был не столько поэт, сколько вексель, некая присяга, смысл коей сводился к двум словам: *«буду поэтом»*. И поэтом Иванов стал, и оплатил вексель — всей жизнью.

Пришла Февральская революция, летом 1917 года скончалось суворинское «Лукоморье». Потом — Октябрь, восемнадцатый год, девятнадцатый... Печататься в то время было трудно и небезопасно, тем более что Г. Иванов уже успел в эти годы напечатать несколько острополитических стихотворений[3]. Но жить на что-то надо. Вернувшийся из-за границы Гумилев твердо решил — по свидетельству Иванова, по крайней мере,— что его прокормят стихи,— до самого расстрела они его и кормили, хотя знаменитые пайки воблой, селедкой, крупой перепадали Гумилеву в основном за выступления; а у Георгия Иванова, помимо «камерности дарования» (тогдашней), был еще и дефект речи — врожденная шепелявость. Поэтому с таким усердием взялся он за поэтический перевод; в те годы возникают под его пером русские переложения поэм Байрона («Мазепа» и «Корсар»), Кольриджа («Кристабель»), стихотворений Бодлера, Самэна, Готье, Эредиа, ряда других поэтов: Г. Иванов усердно

[1] «Русская воля», 1917, 16 янв., № 15.
[2] «Новый журнал», Нью-Йорк, 1980, № 140, с. 188.
[3] См., напр., «Пушкина, двадцатые годы...» (в разделе «Стихотворения, не входившие в прижизненные сборники»).

занимается в переводческой студии под руководством М. Л. Лозинского. Молодое советское государство не имело возможности публиковать эти переводы — большинство материала, «заготовленного впрок» основанной Горьким «Всемирной литературой», по сей день лежит в архивах и ждет издателя. В качестве аванса полагался за переводы паек — все те же крупа и вобла. Даже нищие в Петрограде в то время, по свидетельству З. Гиппиус, просили не «на хлеб», а «на воблу» — хлеба попросту не было. Однако именно благодаря пайковой вобле «Всемирной литературы» появилась на свет большая часть переводов Блока из Гейне, Гумилева из Саути, Лозинского из Кольриджа и многое другое. Почти полная невозможность печататься до самого 1920 года пошла Георгию Иванову на пользу: занимаясь переводами, он одновременно стал пересматривать и свои старые стихи и эстетические каноны. *Смотреть и видеть* в эти годы он уже умел, версификационным даром владел изначально. Оставалось научиться, как сказал Гумилев, *мыслить*. Но от прежних стихов отмахнуться тоже было невозможно, и тогда Георгий Иванов попытался сложить все написанное им в некое единое целое. Случилось так, что рукопись двадцатичетырехлетнего поэта — «Горница» (стихотворения 1910—1918 гг.) попала на редакционный отзыв к человеку, чье мнение для Иванова было, пожалуй, «высшей инстанцией». Его рецензентом оказался Александр Блок.

Рукопись не сохранилась — по крайней мере, пока не найдена. Судя по косвенным данным, она была составлена из «ювенилии», позднее образовавшей сборник «Лампада», какой-то части стихотворений, позднее вошедших во второе издание «Вереска», и, видимо, нескольких стихотворений, попавших в «Сады». Рецензия Блока датирована 8 марта 1919 года. «Когда я принимаюсь за чтение стихов Г. Иванова, я неизменно встречаюсь с хорошими, почти безукоризненными по форме стихами, с умом и вкусом, с большой художественной смекалкой, я бы сказал, с тактом; никакой пошлости, ничего вульгарного» [1]. Многое вызвало у Блока нарекания — именно эти нарекания со всей возможной недобросовестностью использовались советским литературоведением в виде обстриженных цитат в те долгие десятилетия, когда Г. Иванов числился у нас по разряду «ничтожных эпигонов». Но рецензия Блока преследовала еще и узко утилитарную цель, она решала судьбу книги: издавать ее или не издавать, и Блок, не приведя никаких аргументов *против* издания книги, писал: «В пользу издания могу сказать, что книжка Иванова есть памятник нашей страшной

[1] Блок А. Собр. соч. в восьми томах. Т. 6. М., 1962, с. 335—336.

эпохи, притом автор — один из самых талантливых молодых стихотворцев». Рецензия эта широко известна; не одно поколение молодых советских поэтов, впервые узнав из нее имя Г. Иванова, отправлялось в библиотеку на поиски его ранних сборников. И находило там «Лампаду», «Вереск», «Сады». Больше всего читателей было, наверное, у этой последней книги, на которой значилось: «Третья книга стихов»,— хотя простым подсчетом получалось, что книга эта пятая или шестая. Она же являлась апофеозом ивановского акмеизма. И именно эту книгу современники, критики начала двадцатых годов, изругали наиболее единодушно. Отзывов (печатных) на «Сады» сейчас выявлено уже более десятка. Приведем некоторые, наиболее веские. София Парнок (А. Полянин) писала: «Георгий Иванов — не создатель моды, не закройщик, а манекенщик — мастер показывать на себе платье различного покроя»[1]. И. Оксенов выражался ясней и доносчивей: «Георгий Иванов умеет только слегка мечтать и — попутно — стилизовать природу в духе любимых им «старинных мастеров». 〈...〉 Георгию Иванову не дают спать лавры Дмитрия Цензора»[2]. Заметим, что здесь — как раз в духе доноса — досталось не только Иванову, но и «старым мастерам», многие из коих в недальнем будущем, как ненужные пролетариату, отбыли из СССР к западным коллекционерам. В единый улюлюкательный хор («Эпигон! Эпигон!») включился и Петр Потемкин (к моменту опубликования рецензии уже оказавшийся в эмиграции и, кстати, сам к тому времени изрядно исписавшийся): «Этому поэту сам Бог судил быть только тенью. 〈...〉 Он тот же человек, безыскусственно любящий свое искусство, свое вышивание строк бисером по канве общепринятого и модного образца»[3]. Хулители Г. Иванова были совершенно единодушны, даже прежний «наставник» его, М. Кузмин, иронически писал в своем «Письме в Пекин»: «Относительно же коллекционера, собирателя фарфора, не знаю, как быть. Хотел было послать ему «Сады» Георгия Иванова, но, пожалуй, более подходящими будут «Марки фарфора»[4]. (Заметим в скобках, что отношения Г. Иванова с ранними его наставниками — прежде всего Северяниным и Кузминым — к этому времени полностью испортились, что нашло свое отражение в «Петербургских зимах».) Самое краткое —

[1] Альманах «Шиповник». М., 1922, с. 173.
[2] «Печать и революция», 1922, № 3 (15), с. 72—73.
[3] «Новости литературы», 1922, № 1, с. 55—56.
[4] «Абраксас». Пг., 1922, № 2, с. 62.

и, пожалуй, единственное непредвзятое — мнение о «Садах» высказал рано умерший Лев Лунц: «В общем, стихи Г. Иванова образцовы. И весь ужас в том, что они образцовы»[1]. Всего один, притом неподписанный, отзыв на «Сады» был положительным[2]. Не напиши поэт ничего больше, может быть, мнение хора хулителей от 1922 года — о «Садах», да и в целом о поэзии Г. Иванова — оставалось бы в силе и по сей день. Но последующие десятилетия бросили новый луч света на раннее творчество Георгия Иванова.

Встав после смерти Гумилева во главе «Цеха поэтов», Г. Иванов неизбежно попадал как бы в тень Гумилева. Ни поэтическим престижем, ни героической биографией с Гумилевым он сравниться тогда не мог. Разве что сам сознавал в те годы: даже чарующе красивые «Сады» — лишь прелюдия к его будущему творчеству. Советской России он не был нужен. В эмиграции виделся слабый огонек надежды оплатить некогда выданный читателям вексель — *«буду поэтом»*. Георгий Иванов покидал Россию поэтом известным и значительным, но место его было едва-едва во втором ряду, притом ряду петербургском, не более.

Прежде чем говорить об основном периоде творчества Г. Иванова, эмигрантском, нужно вспомнить уже упомянутую выше «Лампаду». Сборник вышел в Петрограде в 1922 году с подзаголовком «Собрание стихотворений. Книга первая». Смысл издания был приблизительно таков: «Вот что я писал до начала войны 1914 года, это моя книга первая». Советская пресса отреагировала на «Лампаду» быстро и не без яркости. К примеру, Сергей Бобров писал о ней: «Этот даже не знает, что что-то случилось, у него все по-хорошему тихо, не трахнет»[3]. Были и другие отзывы, все они как в фокусе линзы — точней, как в капле грязной воды — спроецировались в неподписанной рецензии в журнале «Сибирские огни» (выход журнала совпал с моментом отъезда Иванова за границу): «Едва ли можно найти другую книгу, изданную в России в 1922 году, являющуюся более полным органическим и непримиримым отрицанием революции, чем «Лампада». 〈...〉 Как у старой генеральши, у Георгия Иванова «все в прошлом». От настоящего у него только тоска и желанье бежать в религиозную муть какого-нибудь скита»[4].

[1] «Книжный угол», 1922, № 8, с. 49.
[2] «Жизнь искусства», 1922, 3 янв., № 1 (5—6).
[3] «Красная новь», 1922, № 2/6, с. 351. Подписано «Э. Бик».
[4] «Сибирские огни». Новониколаевск, 1922, № 4/5, сентябрь — октябрь.

С той поры рецензий на книги Г. Иванова в советской печати не было, но упоминания, часто содержащие и характеристику личности, встречались. В известной книге «100 поэтов» Б. Гусман поместил главку о Г. Иванове, в которой были знаменательные строки: «Душа Георгия Иванова наблюдает жизнь лишь издали. ⟨...⟩ Его душа вся только в грезах о прошлом. ⟨...⟩ Очарованная этими «воздушными мирами», его душа слепа для бьющейся вокруг нас в муках и радостях жизни. ⟨...⟩

И венок мой, как кораблик,
Прямо к берегу плывет.

К какому берегу? Этого нам Георгий Иванов не говорит. Да, вероятно, в своей отрешенности и отъединенности от мира он и сам этого не знает, но спящая душа его уже в тревоге, потому что чувствует она, что рождаемый в буре и грозе новый мир или разбудит, или совсем ее похоронит под обломками того старого мира, в котором она живет»[1].

В октябре 1922 года Г. Иванов и И. Одоевцева уже покинули Россию, и из язвительного вопроса «К какому берегу?» получился не «разящий меч», а вялая, никем не замеченная парфянская стрела. Однако в двадцатые годы в СССР объективное литературоведение еще существовало, и в известной антологии русской поэзии XX века Ежова и Шамурина (1925) четырнадцать стихотворений Г. Иванова были вновь перепечатаны. В том же 1925 году Г. Горбачев писал: «А Георгий Иванов («Сады») рассказывал о «Садах неведомого калифата», что ему «виднеются в сиянии луны», и тосковал ⟨...⟩, и воспевал «Пение пастушеского рога», Диану, Зюлейку»,— т. е., по Г. Горбачеву, поэт демонстрировал свое непролетарское происхождение и тем самым обреченность на погибель под железной пятой грядущего всеобщего счастья и братства. Итог ясен: «Пишут ли иные Оцупы, Ивановы, Одоевцевы в том же роде, что и в эпоху 1919—1921 гг., или вовсе не пишут — одинаково неинтересно. Говорить о них можно будет, если они обновятся, что маловероятно»[2].

К концу двадцатых годов русская литература уже окончательно расщепилась на советскую и зарубежную. Пусть редко, но в советской печати кое-что появлялось об эмигрантской литературе: назидательности ради, дабы напомнить, что на Западе всюду тлен, разврат, голод, холод и про-

[1] Гусман Б. 100 поэтов. ⟨Пг.⟩, 1922, с. 98—101.
[2] Горбачев Г. Очерки современной русской литературы. Л., 1925, с. 36—37.

зябание (а также всемирная любовь пролетариев к СССР и товарищу Сталину). Авторам таких обзоров приходилось быть весьма осмотрительными. В 1933 году в журнале «За рубежом» появилась статья Корнелия Зелинского «Рубаки на Сене». Вот ее начало: «Передо мной пятидесятая юбилейная книжка «Современных записок». Это самый солидный и толстый из эмигрантских журналов. Издается в Праге...»[1] Зелинскому не до мелочей: Прага или Париж, Борис Смоленский или Владимир Смоленский — не все ли равно. Главное, что в поэзии Марины Цветаевой «под осенним дождичком меланхолии хранится еще непотушенная месть и злость. Ее хочет разбудить Марина Цветаева у своих компатриотов», а Борис Поплавский пописывает «стишки». Не забыл автор статьи и Георгия Иванова. Процитировав по кусочку из стихотворений «Я люблю эти снежные горы...» и «Обледенелые миры...», он вывел мораль: «Поистине, трудно более недвусмысленно передать свое мироощущение, трудно более откровенно признаться в своем «призрачном» существовании и растерянно оглянуться на «чепуху мировую». Разве это не ярчайший документ растерянности и ощущения бессмысленности своего существования?» Ныне последнюю фразу можно с успехом применить к статье самого Зелинского: «ярчайшим документом» в советском литературоведении она останется.

Время шло, иной раз имя Г. Иванова в СССР упоминалось, но общий тон уже установился. В 1943 году в СССР приехал А. Вертинский, в чьем репертуаре стихотворение Г. Иванова «Над розовым морем...» звучало с сотен советских эстрад,— но изменилось лишь отношение к Вертинскому. В 1946 году в журнале «Ленинград» (№ 5 — в канун ждановского погрома и закрытия журнала!) решил напомнить о себе давно забытый старший современник Блока — поэт Дмитрий Цензор. Оторвавшись от сочинения либретто к опереттам и писания стихотворных фельетонов в многотиражке Метростроя под псевдонимом «Пескоструйщик», Цензор вдохновенно стал вспоминать Александра Блока: «А. Блок особенно принял к сердцу судьбу моей книги 〈...〉, долго говорил со мной 〈...〉. Издать вас необходимо — я говорю об этом в рецензии. И считаю нужным совсем отклонить рекомендуемых Гумилевым Георгия Иванова и других эпигонствующих, совершенно опустошенных, хотя и одаренных поэтов. У них ничего нет за душой и не о чем сказать»[2].

Желающие могут заглянуть в упомянутую рецензию Блока и убедиться, что написано в ней прямо противополож-

[1] Здесь и далее — по тексту: «За рубежом», 1933, № 4(6), с. 10—11.
[2] «Ленинград», 1946, № 5, с. 19.

ное — о Д. Цензоре: «Кругозор его по-прежнему не широк, на стихах лежит печать газеты, перепевает он самого себя без конца», о Г. Иванове, напомним, там же было сказано, что это «один из самых талантливых среди молодых стихотворцев»[1].

«Это опять-таки случай так называемого вранья», — говорил незабвенный булгаковский Фагот. Более чем вероятно, что несомненное вранье Д. Цензора было в 1946 году, как и статья К. Зелинского в 1933-м, своеобразной «прививкой от расстрела» (выражение О. Мандельштама из «Четвертой прозы»). Цензор умер годом позже, успев напомнить о себе потомкам — правда, лишь небольшой их части, специалистам по творчеству Блока. И эстафету ругани приняли именно они.

В 1950-х годах советскому читателю было возвращено, пусть в мизерных дозах, творчество Марины Цветаевой. Специалист по Блоку, виднейший литературовед В. Орлов написал предисловие к вышедшему в Москве в 1961 году первому советскому «Избранному» Цветаевой. Расхвалить Цветаеву как лучшего поэта русского зарубежья ему показалось неубедительным без противопоставления кому-либо, и, по сложившейся традиции, В. Орлов обрушил ведро художественных помоев именно на Георгия Иванова: «Эмиграция выдвигала в качестве «своего» поэта лощеного сноба и ничтожного эпигона Георгия Иванова, который в ностальгических стишках томно стонал о «бессмысленности» существования или предавался пустопорожним «размышлениям», достойным Кифы Мокиевича»[2]. В. Орлов, надо думать, отлично отдавал себе отчет в том, что пользуется лексикой из арсенала бессмертного прокурора Вышинского. И от блоковедов эстафета ругани была, таким образом, передана цветаеведам — главным образом из-за известной статьи Цветаевой «История одного посвящения»: Г. Иванов в газетном фрагменте «воспоминаний» (будем их так пока что условно называть), никуда позже не включавшемся им, ненароком обидел Цветаеву — перепутал посвящение на стихотворении Осипа Мандельштама. Противопоставление Цветаевой и Г. Иванова (по сути — бессмысленное) продолжается[3]. Предполагается, что Г. Иванов должен был за эту статью Цветаеву возненавидеть — хотя статья не была опубликована: Цветаева ее читала на одном из своих вечеров. Но вот что писал Г. Иванов Роману Гулю (16.III.1954 г.): «Насчет Цветаевой я с удовлетворением узнал, что вы смотрите на ее книгу

[1] Блок А. Собр. соч. в восьми томах, т. 6, с. 335.
[2] Цветаева М. Избранное. М., 1961, с. 10.
[3] См., напр., статью И. Кудровой в журнале «Октябрь», 1988, № 9.

вроде как я. Я не только литературно — заранее прощаю все ее выверты — люблю ее всю, но еще и «общественно» она очень мила. Терпеть не могу ничего твердокаменного по отношению к России. Ну, и «ошибалась». Ну, и болталась то к красным, то к белым. И получала плевки и от тех, и от других. «А судьи кто?» И камни, брошенные в нее, по-моему, возвращаются автоматически, как бумеранг, во лбы тупиц — и сволочей,— которые ее осуждали. И если когда-нибудь возможен для русских людей «гражданский мир», взаимное «пожатие руки» — нравится это кому или не нравится,— пойдет это, мне кажется, приблизительно по цветаевской линии»[1].

К этому надо бы теперь добавить — несомненно, и «по линии Георгия Иванова».

Вряд ли необходимо прослеживать столь же подробно историю отзывов на творчество Г. Иванова в печати русского зарубежья. По большей части ему — особенно после выхода «Роз» в 1931 году — как поэту расточались похвалы, из коих исследователю возможно извлечь представление лишь о вкусовых склонностях рецензента. Накануне выхода «Роз» Г. Адамович писал: «Георгий Иванов, по-видимому, находится в полном расцвете своего дарования и пишет свои лучшие стихи»[2]. Константин Мочульский после выхода «Роз» высказался: «...до «Роз» Г. Иванов был тонким мастером, писавшим «прелестные», «очаровательные» стихи. В «Розах» он стал поэтом»[3]. Наконец, уже в 1971 году Ю. Терапиано твердил все о том же: «...вспомним «Розы» — лучшую книгу во всей вообще русской поэзии тридцатых годов»[4]. О подобных отзывах можно найти мнение самого Георгия Иванова — в письмах. Например, в письме к Н. Берберовой (от конца декабря 1951 г.): «Хвалили меня множество раз, и все это сплошь, вплоть до — может быть, читали — Зинаиды Гиппиус, «не то» по существу: более умный или более глупый Мочульский»[5].

Куда интересней — что думал *читатель*. Принято считать, что у парижских поэтов тридцатых годов такового не было. Ну разве что друг друга читали, да еще из Варшавы или Риги на не очень грамотном русском языке приходили письма-отзывы в редакции парижских газет. Нет, читатель

[1] «Новый журнал», 1980, № 140, с. 185—186.
[2] Цит по письму Г. Адамовича к автору данного предисловия.
[3] «Современные записки», Париж, 1931, № 46, с. 502.
[4] Терапиано Ю. Литературная жизнь русского Парижа за полвека. Париж — Нью-Йорк, 1987, с. 148.
[5] Берберова Н. Курсив мой. Изд. 2-е. Нью-Йорк, 1983, т. 2, с. 554.

был — хотя книга, вышедшая тиражом 500 экземпляров, распродавалась целиком лишь в исключительных случаях (как произошло с «Розами»); читатель все-таки был — те немногие сотни молодых русских людей, увезенных из России почти детьми, не успевших и оглянуться на родной ли Петербург, на родную ли Пензу. О том, *как* воспринимала эта молодежь поэзию Георгия Иванова, рассказано на страницах мемуаров Валерия Перелешина, выросшего в Китае русского поэта, чьей третьей родиной стала Бразилия, воспоминания которого — «Два полустанка» — впервые вышли на русском языке в 1987 году в Амстердаме.

В Харбине, где в тридцатые годы жили десятки, если не сотни тысяч русских, существовало несколько литературных объединений (наподобие «Цеха поэтов» — одно из объединений так и называлось), главным среди них была «Чураевка» (получившая имя от Чураевых, героев одноименной эпопеи сибирского писателя Г. Гребенщикова), основанная молодым казачьим офицером, поэтом Алексеем Ачаиром. Входил в «Чураевку» и Перелешин. Вот что он пишет: «На Дальнем Востоке «парижская нота» часто вызывала восхищение. Стихи Георгия Иванова, Ходасевича, Ладинского, Цветаевой, Эйснера, Адамовича, Смоленского, Довида Кнута и других парижан воспринимались живо и радостно». И далее: «После собраний поэты часто забирались в ближайший подвальчик Шатровой. Денег ни у кого не водилось. На восемь человек заказывали два огурца, под которые пилось много водки. Много водки было выпито под «Синеватое облако», им мы все просто бредили. Нам казалось тогда, что все пишут в одном тоне (и как прекрасно!), что Ладинский в отличных отношениях с Цветаевой, Адамович запросто бывает у Ходасевича, Поплавский на «ты» с Георгием Ивановым и что «телесная» Екатерина Бакунина[1] кормит пельменями Эйснера и обожаемого (нами) Анатолия Штейгера.

Синеватое облако,
и еще облака...

И это было бесподобно. Лучше и Ахматовой, и Гумилева, и Блока»[2].

Сделав неизбежную поправку на расстояние от Харбина до Парижа и на два всего лишь огурца под водку, все же очень любопытно отметить, что заброшенные в Маньчжурию товарищи по несчастью, ровесники парижского «незамеченного поколения», воспринимали парижан как «единую

[1] Е. Бакунина (1889—1976) — автор романа «Тело».
[2] «Литературная учеба», 1989, № 6, с. 115.

группу». Перелешин над подобным подходом справедливо иронизирует. Современный литературовед М. Шаповалов пишет вполне серьезно: «На чужбине с Георгием Ивановым произошло очищение страданием. Он понял, *чего* лишился, и стихи его являют собой характерные примеры «поэзии парижской ноты»[1]. Перед нами тот самый географический казус, из коего проистекает искажение истины.

В Париже жили многие поэты — но кто из них представлял «парижскую ноту», кто нет? Как-то принято считать, что «парижская нота» выросла из традиционной петербургской поэтики в том ее узком истолковании, какое давал ей в Париже почти единственный бесспорный представитель «ноты», ее несомненный идеолог — Георгий Адамович. «Нота» группировалась вокруг Адамовича сперва в «Звене», позже — в «Последних новостях»: именно там статьи Адамовича создали некую «ноту». Нигде и никто, впрочем, никогда не формулировал — что же она такое, эта «нота». Кроме... злейшего врага, Владимира Набокова (тогда еще — Сирина), в романе которого «Дар» Адамович фигурирует под псевдонимом «Христофор Мортус». Вот что пишет у Набокова Мортус о назначении литературы и поэзии, о ее роли в жизни: «Один пишет лучше, другой хуже, и всякого в конце пути поджидает Тема, которой «не избежит никто». ⟨...⟩ Наша литература,— я говорю о настоящей, «несомненной» литературе,— люди с безошибочным вкусом меня поймут,— сделалась проще, суше,— за счет искусства, может быть, но зато (в некоторых стихах Цицовича, Бориса Барского, в прозе Коридонова...) зазвучала такой печалью, такой музыкой, таким «безнадежным небесным очарованием», что, право, не стоит жалеть о «скучных песнях земли»[2].

Набоковская пародия била в цель — в Адамовича и его немногих верных последователей — с убийственной точностью, тем более что за именами Цицовича и Бориса Барского немедленно просматривались подлинные Борис Закович и барон Штейгер. Но по крайней мере три парижские школы — и целый ряд поэтов, стоявших вне всяких «школ»,— никак к этой самой «ноте» с ее «безнадежным небесным очарованием» не приближались на выстрел. Это были прежде всего участники литературного объединения «Перекресток», пламенные сторонники главного оппонента Адамовича — В. Ходасевича: Ю. Мандельштам, И. Голенищев-Кутузов, Г. Раевский. Во-вторых, члены объединения «Кочевье» (его участники, в частности Марина Цветаева,

[1] «Простор», 1988, № 6, с. 170.
[2] Набоков В. Собр. соч. в четырех томах. Т. 3. М., 1990, с. 270—271.

и вправду «перекочевали» в Париж из Праги). В-третьих, малочисленная, но очень яркая группа «формистов» — А. Присманова, А. Гингер, В. Корвин-Пиотровский. Может быть, и зачисляли себя на какое-то время в «ноту», но никак не укладывались в нее своими мощными дарованиями Борис Поплавский и Довид Кнут.

Что в остатке? Лишь Адамович да его вернейший (исключительно талантливый) ученик — Анатолий Штейгер. В послевоенные годы на какое-то время, несомненно, примкнул к «ноте» выходец из Риги Игорь Чиннов, позднее полностью сменивший поэтику и ставший одним из самых значительных русских поэтов США. Прочие имена — третьего, четвертого, десятого рядов. И уж никак не укладывается в подобную поэтическую программу поэзия Георгия Иванова, даже в «Розах», не говоря о позднем творчестве,— хотя сторонники «ноты» еще недавно твердили, что именно от Иванова у «ноты» весь блеск, весь колорит.

Мало того что Иванов не боялся запретных тем — его творчество пронизано не только приметами времени, но и откликами на политические события, что в рамках «ноты» было немыслимо. Да и одного присущего Иванову чувства юмора хватило бы, чтобы «нота» его не вместила. Видимо, сам Иванов некое влияние на «ноту» оказывал, она на него — ни малейшего, а послевоенный Иванов-нигилист стал ей открыто враждебен. В письме от 29 июля 1955 года Иванов писал Р. Гулю: «Как Вы теперь мой критик и судья, перед которым я, естественно, трепещу, в двух словах объясню, почему я шлю (и пишу) в «остроумном», как Вы выразились, роде. Видите ли, «музыка» становится все более невозможной. Я ли ею не пользовался, и подчас хорошо. «Аппарат» при мне — за десять тысяч франков берусь в неделю написать точно такие же «розы» [1]. Сам Гуль в предисловии к книге Г. Иванова «1943—1958. Стихи», вышедшей через несколько месяцев после смерти поэта, привел эту цитату в искаженном виде: он выпустил слова «за десять тысяч франков» и «розы» превратил в «Розы», т. е. в название сборника четвертьвековой давности,— и в итоге ирония над всеми «розами, которые в мире цвели» перешла к одной всего лишь, пусть самой нашумевшей, книге Иванова. А что касается суммы в десять тысяч франков, то франки были «старые», дореформенные: на содержание, т. е. только на еду для престарелых «апатридов», нещедрое французское правительство выделяло 800 франков в день — иначе говоря, за сущие гроши брался Георгий Иванов написать еще одну книгу *старых* своих

[1] «Новый журнал», 1980, № 140, с. 191.

стихотворений. Впрочем, Р. Гулю в упомянутом предисловии — интересном и теперь на фоне прочих писаний о поэзии Г. Иванова — принадлежат две веские формулы, определяющие позднее творчество поэта. Р. Гуль первым распознал в Иванове экзистенциалиста. «Русский экзистенциализм Г. Иванова много старше сен-жерменского экзистенциализма Сартра» [1]. И так отозвался о поздней поэзии Г. Иванова: «Васька Розанов в стихах» [2]. Именно в протоэкзистенциализме Розанова с его монументализацией куска «не то пирога, не то творога» [3] до космических масштабов берут начало и ивановская «вертебральная колонна», и телега, «скрипящая в трансцендентальном плане»,— парадоксальные и пугающие сокровища поэзии позднего Г. Иванова.

«Раньше это бедное, потертое кресло первого поэта русской эмиграции у Иванова оспаривали другие. Цветаева и Ходасевич. Но Цветаевой и Ходасевича нет, Иванов еще остается у нас» [4],— писал Р. Гуль, мечтая о времени, когда «небольшие книжки Георгия Иванова» вернутся в Россию. Но, как видит читатель, из небольших книжек складывается несколько больших.

Георгий Иванов прошел за полвека поэтического творчества долгую и весьма сложную эволюцию.

Неловкий подражатель Кузмина, псевдоинок, очень быстро сдружившийся и раздружившийся еще быстрей с «послом Арлекинии» Игорем Северяниным,— до середины двадцатых годов он оставался акмеистом «без примесей», участником и первого и второго «Цеха поэтов».

Стихи конца 1920-х — первой половины 1930-х годов, из которых составились «Розы», первый раздел «Отплытия на остров Цитеру» 1937 года, и отчасти не вошедшие ни в какой из прижизненных сборников,— уже далеко не просто акмеистические по канонам произведения; если раньше поэт оперировал скрытыми цитатами, то теперь он перешел к демонстративным центонам, а по духу стал неизмеримо трагичней:

Это звон бубенцов издалека,
Это тройки широкий разбег,
Это черная музыка Блока
На сияющий падает снег.

Первые две строки (и часть последней) — чуть измененные слова одного из самых популярных романсов русской эстрады — принадлежат совсем не Блоку, а А. Кусикову. Вряд ли сам Г. Иванов помнил, чьи именно это стихи. Но он видел в них

[1] Иванов Г. 1943—1958. Стихи, с. 4.
[2] Там же.
[3] Там же.
[4] Там же.

символ той огромной и заснеженной России, в которой остался Блок. И тут «черная музыка Блока» звучит без малейшей фальши, высоко поднимаясь над кусиковским романсом.

С середины двадцатых годов и до «Распада атома» Иванов все же еще хоть немного, но акмеист, розы для него еще цветут и соловьи тоже поют, но с каждым годом все горше отчаяние, все выше отметки, оставляемые паводком боли (отнюдь не только ностальгической) в душе поэта. В конце этого периода рождается «Распад атома», сплав стихов и прозы, грубого даже для нынешнего слуха эпатажа и нежной любовной лирики,— но в каком-то смысле и «театр для себя»: Георгий Иванов создает героя, для которого искусство уже невозможно, а возможно разве что самоубийство (как герой «Записок сумасшедшего» не Гоголь, так и герой «Распада атома» — не Иванов). А для самого Иванова невозможно *прежнее* искусство — и он умолкает почти на десятилетие.

Тот поэт, который впервые после войны крупной подборкой предстал читателям на страницах альманаха «Орион» (Париж, 1947), имел очень мало общего с прежним Ивановым. Если прежде поэт цитировал кого попало, то теперь более всех он цитирует самого себя (прежнего), нередко издеваясь над собою и пародируя себя:

Тихо перелистываю «Розы» —
«Кабы на цветы да не морозы»!

Роза, которой любуется поэт, нравится ему, кроме прочего, еще и тем, что он выбросит ее в помойное ведро (игравшее такую важную роль в «Распаде атома»). Верблюды теперь напевают в его стихах лягушачье бре-ке-ке, камбала, «повинуясь рифмы произволу», раздевается догола и любуется в зеркала, наконец, «брюки Ивано́ва» обретают возможность лететь в сиянье, да так, что «вечность впереди». Но ни в какой мере не хочет быть Иванов ни «проклятым поэтом», ни поэтом-абсурдистом (хотя во втором цикле предсмертной книги он использует сюрреалистические приемы вовсю). Да, музыка ему «больше не нужна», но она едва ли не против воли автора остается в его стихах и продолжает служить ему верой и правдой. Только это уже иная, неслыханная музыка, и не всякий слух ее расслышит. Георгий Иванов исполняет завет Кольриджа: поэзия — это лучшие слова в лучшем порядке,— но исполняет его так, как сформулировал наиболее близкий Иванову в творческом аспекте поэт, из числа тех, кто вошел в русскую зарубежную литературу после 1945 года, Юрий Одарченко:

Я расставлю слова
В наилучшем и строгом порядке.
Это будут слова,
От которых бегут без оглядки.

От стихов талантливого эмигрантского «обэриута» Одарченко и вправду иной раз хочется «бежать без оглядки». С поэзией же Г. Иванова ничего подобного не происходит: в ней уродливое никогда не служит объектом изощренного любования, его лишь не прячут, а жестокое нигде не переходит в садизм, его лишь констатируют. Нигилизм позднего Георгия Иванова, скепсис и желчь его очищены высоким страданием и подлинным, богоданным поэтическим даром.

* * *

«А что такое вдохновенье?» — спрашивал Георгий Иванов в «Посмертном дневнике». Хочется продолжить: а что такое мемуары? Магнитная пленка, видеолента, даже стенограмма зафиксирует факт или слово — так, да не так, как запечатлеются они в сознании и в душе очевидца. А уж если свидетель — поэт, он наверняка все переосмыслит и перепутает. Тем более такой поэт, который свою собственную книгу назвал «Портрет без сходства» (1950). Книгу стихов, правда, но какого ждать от такого поэта сходства с оригиналами тех, кого «изображает» он в своей прозе?

С «мемуарами» Георгия Иванова произошла незадача: с середины двадцатых годов и до конца жизни он печатал отрывки воспоминаний, притом не только беллетризованных — часто настоящие стихотворения в прозе со всеми их признаками музыкального построения фразы, рефренами и т. д. Часть этих очерков вошла в книгу «Петербургские зимы» (Париж, 1928; 2-е изд. Нью-Йорк, 1952). Сам Г. Иванов категорически отрицал, что пишет мемуары. Вот что вспоминает Нина Берберова о том, как они с Ходасевичем и Георгием Ивановым гуляли в конце двадцатых годов по ночному Монмартру: «Тогда же Иванов, в одну из ночей, когда мы сидели где-то за столиком, ⟨...⟩ объявил мне, что в его «Петербургских зимах» *семьдесят пять процентов выдумки и двадцать пять — правды*. ⟨...⟩ Я нисколько этому не удивилась, не удивился и Ходасевич, между тем до сих пор эту книгу считают «мемуарами» и даже «документом»[1]. Г. Иванов не только говорил, но и писал: «Мало ли что я еще знаю и о чем умолчал в моих полубеллетристических фельетонах, из которых составились «Петербургские зимы»[2].

[1] Берберова Н. Курсив мой, т. 2, с. 547.

[2] Цит. по кн.: Иванов Г. Третий Рим. Худож. проза, статьи. Анн-Арбор, изд-во «Эрмитаж», 1987, с. 336. Г. Иванов употребил слово «фельетон» в его старом значении, см. словарь В. Даля: «фельетон — листок, отдел «росказней» в газете».

А современники между тем восприняли фельетоны именно как документ — и был ими судим поэт Георгий Иванов совершенно не в соответствии с законами жанра, в котором творил. У некоторых «героев» книги она вызвала просто ярость — у Северянина, у Ахматовой. В опубликованных недавно записках бесед с Ахматовой литератора П. Лукницкого находим такие ее слова, сказанные в апреле 1926 года (т. е. задолго до публикации «Петербургских зим» отдельной книгой): «...а когда Г. Иванов, который теперь пишет грязные статьи, не имея за собой ничего, не имея никакой другой стороны, кроме стороны недостатков — и очень грязных недостатков, стал входить в литературный мир, тщетно пытаясь подражать его участникам и подражать неудачно — до пародии, это было противно. 〈...〉 Что он глуп и скверен, безграмотен и бездарен — знали тоже все 〈...〉 он злился и втайне ненавидел, чтобы при случае сделать гадость. Так и оказалось. И сейчас он обливает помоями больше всех тех, кому он больше всего обязан...»[1]

Сердитое отношение к «Петербургским зимам» Ахматова сохранила до конца жизни. Н. Ильина пишет о том, как сказала Ахматовой, что читала «Петербургские зимы», а в ответ услышала: «Сплошное вранье! Ни одному слову верить нельзя!»[2] Эти слова она повторила и посетившему ее в больнице в Ленинграде «шведскому гражданину»[3]. А ведь, по свидетельству той же Н. Ильиной, Ахматова любила утверждать: *«Поэт всегда прав»*.

Некоторые современники восприняли «мемуары» Г. Иванова как «документ», однако неточный,— одни утверждали, что знаменитое чтение Ахматовой на «Башне» происходило «не совсем так» (за несколько месяцев до смерти это говорил Вяч. Иванов). Другие опять-таки впадали в ярость — так, вдова Осипа Мандельштама Н. Я. Мандельштам в своих мемуарах (предназначенных быть именно документом, лишенным беллетристики) пишет: «Рассказ Георгия Иванова о том, что О. М. в ранней юности пытался в Варшаве покончить с собой, по-моему, не имеет ни малейшего основания, как и многие другие новеллы этого мемуариста»[4]. Она же продолжает во «Второй книге»: «...хитроумного Жоржика мы вспомнили лишь после того,

[1] Лукницкая В. Из двух тысяч встреч. М., 1987. Б-ка «Огонька», № 17, с. 51.
[2] Ильина Н. Дороги и судьбы. М., 1988, с. 351.
[3] Странник. Переписка с Кленовским. Париж, 1981, с. 105—106.
[4] Мандельштам Н. Воспоминания. М., 1989, с. 51.

как он стал промышлять мемуарами о своих знакомых, которые сидели с кляпом во рту и не могли даже отругнуться»[1].

Как в словах Ахматовой, так и в словах Н. Я. Мандельштам для тех, кто прочтет теперь «Петербургские зимы» и более ранние «Китайские тени», подобная ярость покажется загадочной: о ком это Г. Иванов написал так мерзко и грязно? Ну, разве о А. Тинякове — так не его же, в самом деле, имела в виду Ахматова? Очень некомплиментарно писал Иванов о Северянине. Но тот сидел отнюдь не «с кляпом во рту» и очень грубо отругнулся в эмигрантской прессе — статьей «Шепелявая тень». Может быть, дело во взаимонепонимании эмигрантов и граждан СССР? Та же Н. Я. Мандельштам во «Второй книге» пишет: «Я часто слышу жалобы и стоны бывших эмигрантов, которых никто не убивал и не уводил по ночам в невероятные тюрьмы двадцатого века, но я не затыкаю ушей, потому что узнала, как горек эмигрантский хлеб на чужбине. Узнала я это в Грузии. У моих современников был выбор — чужой хлеб на чужбине или собственное смертное причастие»[2].

Трудно сказать, знала ли Н. Я. Мандельштам, не без оснований утверждавшая, что все Мандельштамы — родственники, одна семья, о судьбе Юрия Мандельштама, пусть не крупного, но все же поэта, погибшего в 1943 году в немецком концлагере, о судьбе Матери Марии, Раисы Блох, Михаила Горлина, Юрия Фельзена, Ариадны Скрябиной, Бориса Дикого-Вильде, Ильи Фондаминского, еще десятков русских писателей, погибших в невероятных тюрьмах двадцатого века отнюдь не в СССР! Знала ли уцелевшая в СССР вдова поэта Мандельштама о гибели в немецком концлагере вдовы поэта Ходасевича Ольги Марголиной? Трудно поверить, что не знала. То же и Ахматова.

Н. Ильина вспоминает, что, работая в 1946 году в шанхайской советской газете «Новая жизнь», она опубликовала статью «В традициях великой русской литературы»: «...могло ли мне прийти в голову, что ровно через десять лет, а именно в октябре 1955 года, я буду рассказывать об этой статье Анне Ахматовой? 〈...〉 Она спрашивает: «И обо мне там что-нибудь было?» Я — стыдливо: «Было. Кажется, я упрекала вас за то, что вы ушли в мирок интимных переживаний...» Она с усмешкой: «Что ж. Ведь вас здесь не стояло!» Эту пародию на реплику, нередко доносящуюся из очереди, я услышала тогда из уст Ахматовой впервые. Еще не раз

[1] Мандельштам Н. Вторая книга. М., 1990, с. 123.
[2] Там же, с. 65.

в течение нашего одиннадцатилетнего знакомства она обратится ко мне с этими словами...»[1]

Вот уж в самом деле — *«вас здесь не стояло»*. Но именно Георгий Иванов (к тому времени уже более четверти века эмигрант) в 1950 году в статье «Поэзия и поэты» писал об ахматовских славословиях Сталину (№ 14 журнала «Огонек» за тот год) не с осуждением, а с ужасом: «Под этими стихами стоит впервые после ждановского разгрома появившееся в печати славное имя Анны Ахматовой! Имя не только первого русского поэта, но и человека большой, на деле доказанной стойкости. ⟨...⟩ Совершеннейший мастер русского стиха — она вымученными ямбами славит Сталина. ⟨...⟩ Кончаю на этом бесконечно грустном примере с поэзией».

Георгий Иванов не взялся быть судьей Ахматовой — хотя и не знал, что Ахматова пытается таким способом спасти жизнь арестованному сыну (Г. Иванов полагал, что Л. Н. Гумилев расстрелян). Если бы знал — то наверняка одобрил бы ее поступок. Знай он о существовании «Оды Сталину», написанной Мандельштамом весной 1937 года и бережно опубликованной западными ценителями творчества Мандельштама в наши дни,— Иванов и его понял бы.

Георгий Иванов меньше всего стремился создать «документ», вынести кому бы то ни было приговор. Отнюдь не обожествляя Цветаеву, он все же писал: «...ее не хочется, может быть, даже нельзя судить. Не хочется потому, что она настоящий поэт...» («Почтовый ящик», 1923). Очень иронически (и не всегда по-доброму) воспринимая Рюрика Ивнева, он все же писал: «Единственный талантливый поэт, сотрудничающий в «Очарованном страннике»,— Рюрик Ивнев»[2]; в «Петербургских зимах» талантливость Ивнева тоже признана. Создав подчеркнуто пародийный портрет Хлебникова в «Петербургских зимах», их автор не забывал, что «так мало читателей, способных отличить настоящего революционера в поэзии от «примазавшегося». Хлебникова от Крученых» (см. тот же «Почтовый ящик»). И примеры можно продолжить. Разве только о Владимире Набокове Г. Иванов написал такое, что и наш современник, ревностнейший хулитель Набокова Д. Урнов не придумал бы: «самозванец, кухаркин сын, черная кость, смерд...» Но и сам Набоков «стер с лица земли» А. Ремизова, к примеру. Здесь — отголоски той литературной войны, которую в 1930-е годы вели между собой «русские в Париже».

[1] Ильина Н. Дороги и судьбы, с. 306.
[2] «Аполлон», 1916, № 1.

Да, есть у поэта такое право: писать «что на ум придет» — *поэт всегда прав*. Даже если «все вранье» в «Петербургских зимах», так и в «Войне и мире» все неправда (как считал, например, неплохо знавший «предмет» князь П. А. Вяземский). Кто тут художнику судья? Юрий Мандельштам окончил свои дни в немецкой газовой камере. Осип Мандельштам — в лагере на Дальнем Востоке. Страшный век в равной мере превращал их в свою «кровавую пищу».

Нас общая судьба крылом задела
И вместе за собою понесла.

Это, кстати, как раз стихи Юрия Мандельштама.

Уж если бы Георгий Иванов хотел с кем-нибудь «свести счеты», то, несомненно, в «Петербургских зимах» (во втором их издании наверняка) содержалась бы глава о В. Ходасевиче. Но главы такой нет. А к сложным отношениям этих двух поэтов необходимо присмотреться отдельно.

До недавнего времени, по крайней мере в зарубежном литературоведении, бытовало мнение, что Иванов и Ходасевич поссорились в тридцатые годы. Создал легенду главным образом Юрий Терапиано, твердивший, что в эти годы между Ивановым и Ходасевичем шла «настоящая литературная война».

Но первый обмен мнениями друг о друге состоялся между Ходасевичем и Ивановым в 1915—1916 гг. Ходасевичу было под тридцать. Иванову — на восемь лет меньше, слишком большой известностью ни тот, ни другой похвастать не могли, и словесная дуэль их, начавшись в те годы, не кончилась даже со смертью Ходасевича в 1939 году.

Г. Иванов похвалил вышедшую в 1914 году книгу «Война в русской лирике», составленную Ходасевичем («Аполлон», 1915, № 1). Сколько-нибудь близкого знакомства между ними в те годы, видимо, не было. Однако в 1916 году для газеты «Утро России» (от 7 мая) Ходасевич пишет рецензию на первое издание «Вереска». Слова этой рецензии превратились для Иванова в самую, быть может, тяжелую страницу его поэтической биографии на ближайшие тридцать лет; они били по самому больному месту и предрекали Иванову то самое, что с ним в итоге и случилось. Вот что писал Ходасевич: «У Георгия Иванова, кажется, не пропадает даром ни одна буква; каждый стих, каждый слог обдуман и обработан. Тут остроумно сыграл молодой поэт на умении описывать вещи; тут апеллирует он к антикварным склонностям читателя; тут блеснул он осведомленностью в живописи, помянув художника в меру забытого и потому в меру модного; тут удачным намеком заставил вспомнить о Пушкине; где надо — показался изысканно томным, жеманным, потом за-

думчивым, потом капризным, а вот он уже классик и академик. И все это с большим вкусом приправлено где аллитерацией, где неслыханной рифмой, где кокетливо-небрежным ассонансом: куда что идет, где что к месту — это все Георгий Иванов знает отлично». Но этого, как считал Ходасевич, мало, чтобы стать подлинным поэтом, стихи Г. Иванова для него — «одна из отраслей русского *прикладного искусства* начала XX века. Это не искусство, а художественная промышленность (беру слово в его благородном значении). Стихи, подобные стихам Г. Иванова, могут и должны служить одной из деталей квартирной, например, обстановки. Это красиво, недорого и удобно...» Заключает же Ходасевич так, что «простить» становится немыслимо: *«Г. Иванов умеет писать стихи. Но поэтом он станет вряд ли. Разве только случится с ним какая-нибудь большая житейская катастрофа, добрая встряска, вроде большого и настоящего горя. Собственно, только этого и надо ему пожелать»* (выделено мной.— *Е. В.*).

Георгий Иванов, как и герой его «Черной кареты» поэт Лаленков, очень болезненно переживал, что не может начать писать лучше, чем два, чем четыре года тому назад, понимал, что Ходасевич *почти* прав. Потому «почти», что любой ценой Георгий Иванов хотел стать именно *большим поэтом*,— а таковое желание не бросишь же, в самом деле, Ходасевичу в лицо в качестве контраргумента. Но ответить хотелось. И когда выходит очередная поэтическая книга Ходасевича («Путем зерна», 1920), Иванов пробует отплатить Ходасевичу той же монетой в рецензии «О новых стихах» (1921):

«Третья книга его стихотворений 〈...〉 не изумляет находками и откровениями, но дарит нам чувство спокойной радости, как от созерцания природы, чтения Пушкина, воспоминаний детства.

Осторожность выражений, неяркость рифм 〈...〉 благородная бедность 〈...〉 прекрасна и драгоценна.

Но верно и то, что голос Владислава Ходасевича звучит порою слишком слабо, порою в его стихах лишь смутно играет отблеск его вдохновения. Чувствуется, что он больше имеет сказать, чем в силах это сделать 〈...〉.

Недостатки (если не считать коренного, т. е. миниатюрности, какого-то карманного масштаба поэзии Ходасевича), даже самые его недостатки не лишены очарования 〈...〉».

В буре эпохи мелкая эта и несправедливая брань, едва ли не наполовину перефразирующая статью Ходасевича от 1916 года (и странным образом — цитированный выше отзыв А. Тинякова на «Памятник славы»), Ходасевича не только не задела, но, видимо, даже не заинтересовала. Но скоро оба поэта оказались в эмиграции. Резко изменились масштабы мира, сузился круг читателей — и в обратной пропор-

ции возросли и окрепли дарования обоих поэтов. Хотя в «Почтовом ящике» (1923) Г. Иванов называет имя Ходасевича между именами Ахматовой и Сологуба, старая обида погаснуть в нем не могла. Когда в 1927 году в Париже вышло «Собрание стихотворений» Ходасевича, Г. Иванов (еще не сделавший в своей поэзии того решительного рывка в первые ряды, который, без сомнения, Ходасевичем был сделан) берется за старое и пытается отомстить «Кассандре»: «...можно быть первоклассным мастером и остаться второстепенным поэтом. Недостаточно ума, вкуса, уменья, чтобы стихи стали той поэзией, которая хоть и расплывчата, но хорошо все-таки зовется поэзией «Божьей милостью». ⟨...⟩ Конечно, Ходасевич все-таки поэт, а не просто мастер-стихотворец. Конечно, его стихи все-таки поэзия. Но и какая-нибудь тундра, где только болото и мох, «все-таки» природа, и не ее вина, что бывает другая природа, скажем, побережье Средиземного моря...» («В защиту Ходасевича»).

И в процитированной рецензии, и позже он так или иначе до бесконечности продолжает варьировать одно и то же, то, в чем обвинил его самого Ходасевич в 1916 году. Он пытается расставить бывший до революции «второй ряд модернизма»: «Борис Садовский, Макс Волошин, какой-нибудь там Эллис, словом, второй ряд модернизма и — Ходасевич». В 1930 году ряд уже таков: «Ходасевича отзывами авторитетных критиков (Брюсова и др.) сразу ставят в один ряд с такими величинами, как С. Соловьев, Б. Садовский, Эллис, Тиняков-Одинокий, ныне полузабытыми ⟨...⟩».

Последняя процитированная здесь статья — «Привет читателя», опубликованная в «Числах» под псевдонимом «А. Кондратьев», — вызвала настоящий скандал в парижских литературных кругах, да к тому же «в пылу» Г. Иванов неудачно взял псевдоним, ибо возмутился настоящий, живший в Варшаве А. Кондратьев, автор нашумевшей задолго до революции «Сатирессы». Ходасевич, как писал много позже Владимир Вейдле, был чувствителен «к нападкам на себя, но преимущественно к таким, в которых распознавал мотивы низменные, литераторские, но не литературные. Почуя их, он терял чувство меры, он становился сам несправедлив»[1].

А не обидеться на лже-Кондратьева было невозможно: в его статье *шесть раз кряду* говорилось о «ценной и высокополезной» деятельности Ходасевича. Запихивание Ходасевича в один ряд с Тиняковым и Эллисом — полбеды, но Иванов идет уже на прямой подлог, желая вызвать отвраще-

[1] Вейдле В. О поэтах и поэзии. Париж, 1973, с. 48.

ние к Ходасевичу у читателей-эмигрантов: «Более заметной становится деятельность Ходасевича только со времени большевистского переворота. Писатель становится близок к некоторым культурно-просветительским кругам (О. Каменевой и др.), занимает пост заведующего московским отделением «Всемирной литературы», Госиздат издает его книги и проч.».

Здесь — «все почти факты», но, как писал Ст. Е. Лец, «ложь отличается от правды только тем, что не является ею». «Близость к Каменевой» на деле ограничивалась тем, что Ходасевич с голоду работал в возглавляемом ею «Театральном отделе», а книги, изданные Госиздатом,— одна лишь «Тяжелая лира» 1922 года да переводы польской прозы. Ходасевич не без оснований обиделся и, по меткому слову Вейдле, «потерял» объективность — тогда и началось то, что Терапиано назвал «литературной войной».

Даже тот факт, что Ходасевич в 1930-е годы перестал публиковать собственные стихи, его оппоненты сумели превратить в факт обвинения: «его поэзия зашла в тупик», напишет Терапиано в 1961 году, и сам Г. Иванов в письме к Р. Гулю в начале 1950-х годов тоже скажет: «Не хочу иссохнуть, как иссох Ходасевич». Никто как-то не заметил, что с середины тридцатых годов до середины сороковых не пишет и сам Г. Иванов — почти совсем ничего. Лишь перешагнув тот возраст, в котором умер Ходасевич, он начал писать снова, и только тогда в полной мере сбылось давнее предсказание Ходасевича — Иванов из поэта стал *большим* поэтом. Странным образом, последнее слово в этой «литературной войне» осталось за Георгием Ивановым, и было оно словом примирения: меньше чем за год до смерти Иванов, перерабатывая старые стихи для несостоявшегося «Собрания стихотворений», обещанного ему неким меценатом, вместо заголовка к одному из них поставил эпиграф: «Мне лиру ангел подает. *В. Ходасевич*», и последняя строфа зазвучала совершенно иначе:

И тихо, выступив из тени,
Блестя крылами при луне,
Передо мной склонив колени,
Протянет ангел лиру мне.

Характерно — «мне», «мне — лиру Ходасевича». Но ведь и гораздо раньше, в «Петербургских зимах», были скрытые цитаты из Ходасевича. Само по себе это ни о чем не говорит — с равной легкостью Г. Иванов вставлял в свои центоны Моравскую и Лермонтова, Кусикова и Тютчева. Но после всей «войны» именно «тяжелой лире» Ходасевича он должное отдал. Изжив своей послевоенной поэзией промучивший его три десятилетия комплекс неполноценности,

Георгий Иванов склонился и перед памятью Ходасевича, и перед памятью Цветаевой — перед теми, у кого в тридцатые годы оспаривал «бедное, потертое кресло первого поэта русской эмиграции». А «формальное» их примирение (по свидетельству Ю. Терапиано) состоялось еще в 1934 году на вечере памяти Андрея Белого — примирил поэтов впоследствии погибший в гитлеровском концлагере прозаик Юрий Фельзен.

* * *

Проведение границы между «мемуарной» и чисто художественной прозой Г. Иванова — занятие неблагодарное и почти лишенное смысла. «Есть воспоминания, как сны. Есть сны — как воспоминания. И когда думаешь о бывшем «так недавно и так бесконечно давно», иногда не знаешь, где воспоминания, где сны» («Петербургские зимы»). Или там же, полусотней страниц дальше, находим слова, служащие ключом к этим снам-воспоминаниям: «Классическое описание Петербурга почти всегда начинается с тумана. 〈...〉 Там, в этом желтом тумане, с Акакия Акакиевича снимают шинель, Раскольников идет убивать старуху, Иннокентий Анненский, в бобрах и накрахмаленном пластроне, падает с тупой болью на грязные ступени Царскосельского вокзала». Спустя четверть века, в «Закате над Петербургом», Георгий Иванов почти дословно повторит этот абзац, только «желтый» туман станет «призрачным», а после упоминания Раскольникова будет сказано еще и о том, что «Лиза бросается в ледяную воду Лебяжьей канавки». Иначе говоря, персонажи Гоголя, Достоевского, Пушкина (скорей — Чайковского, потому что в «Пиковой даме» Пушкина Лиза ведет себя более спокойно) сосуществуют в одном воздухе с реальным Иннокентием Анненским: здесь не просто «все перепуталось, и сладко повторять», здесь перед нами сознательная и последовательная мифологизация действительности. Характерно, что литературную деятельность Г. Иванов начал почти детской рецензией на «Кипарисовый ларец» Анненского, поэта, которого не только Иванов, но и старшие его современники воспринимали как человека-легенду. Появление Анненского в «петербургском тумане» предопределено им самим первой строфой «Петербурга»:

Желтый пар петербургской зимы,
Желтый снег, облипающий плиты...
Я не знаю, где *вы* и где *мы*,
Только знаю, что крепко мы слиты.

В «мифологических» мемуарах Г. Иванова знания правды ничуть не больше. В главе о незаслуженно забытом поэте

А. К. Лозина-Лозинском Г. Иванов пишет: «Я знаю, что Любяр — псевдоним поэта, который несколько раз кончал с собой и, наконец, недавно покончил. 〈...〉 Зачем тревожить память мертвого? Я говорю это вслух». Собеседник вручает Г. Иванову визитную карточку — «Лозина-Лозинский... такая-то улица...» — иначе говоря, может создаться впечатление, что автор беседует с призраком. Нет: несколькими строками ниже сообщено, что «на этот раз (недели через три после нашей встречи) самоубийца-неудачник своего добился». Какая уж тут достоверность фактов? В действительности А. К. Лозина-Лозинский отравился морфием 5 ноября 1916 года. В беседе с «призраком» Г. Иванов пишет, что читает призраку все, «вплоть до любовных стихов, позавчера сочиненных», — «Закат золотой. Снега...». И здесь многое не сходится: стихотворение не любовное, оно обращено к Гумилеву, находящемуся на фронте, напечатано было в сборнике «Петроградские вечера» (кн. 4, 1915) — так что либо «позавчера» было год тому назад, либо встреча с «призраком» и «вечер памяти поэта Любяра» разделены не тремя неделями, а по меньшей мере годом, либо, что наиболее вероятно, никакой встречи вообще не было, «воспоминания — как сны, сны — как воспоминания». Вероятней всего, не было и встречи с Комаровским «на скамейке Анненского» в Царском Селе. Многое другое происходило в воображении — и только. Порой даже удивляешься, добравшись до тех самых «двадцати пяти процентов правды», о которых говорил Г. Иванов Ходасевичу и Берберовой, узнаешь, к примеру, о реальном существовании «баронессы Т.» (Таубе-Аничковой) или о подлинности истории с изданием альманаха под редакцией «самого» Дмитрия Цензора («Китайские тени»), о том, что и вправду Г. Иванов перед отъездом из России в Москве заходил к Мандельштаму (очерк «Качка»), о многом другом: художественная ценность текста во всех без исключения случаях у Г. Иванова неизмеримо превышает его же ценность как документа.

Те же приметы находим и в «собственно художественной» прозе Г. Иванова. Уже упоминавшийся герой раннего рассказа «Черная карета» (1916), поэт Лаленков, «был поэт не очень плохой — не очень хороший. Двадцати лет он «подавал надежды» — теперь, двадцати четырех, писал не хуже и не лучше, чем четыре года назад». Если предположить хоть немного автопортретности в образе Лаленкова (а для этого есть основания) и наложить биографические цифры на судьбу Г. Иванова, то они почти сойдутся — разве что Лаленков окажется на два года старше Иванова (если действие рассказа происходит в 1916 году): именно спустя четыре года после выхода первого своего поэтического сборника Г. Иванов никак еще не может найти нового поэтического ключа к творчеству — он лишь на под-

ступах к «Садам», следующему своему этапу. Но носящий множество общих с Лаленковым и Георгием Ивановым примет герой «Третьего Рима» Юрьев демонстративно очерчен как человек, музам непричастный, стихи для него — «баобабы», а «баобабами» он про себя называет «все отвлеченное, не имеющее отношения к реальной жизни, т. е. к шампанскому, женщинам, лихачам и способам раздобыть на это деньги». При этом разным героям Иванова на ум то и дело приходят поэтические строки, и герои постоянно не могут вспомнить, чьи же это стихи: «Господи, я и не знал, что она так некрасива»,— подумал Юрьев стихами какого-то поэта». Инженер Рыбацкий в том же романе «вспомнил неизвестно чью, неизвестно откуда запомнившуюся строчку» — «Дней Александровых прекрасное начало». Лирический герой «Распада атома» пишет: «Человек начинается с горя», как сказал какой-то поэт». Юрьев не помнит, кто такой Анненский, Рыбацкий не помнит, кто такой Пушкин, герой «Распада атома» не помнит, что нашумевшее стихотворение Алексея Эйснера «Надвигается осень. Желтеют кусты...» напечатано в начале 1930-х годов на страницах столь обжитых самим Ивановым «Современных записок». Все мифологизируется, притом «мифологическое» цитирование оказывается точным, а цитирование точное сплошь и рядом искажает цитируемый текст до необходимого Иванову смысла,— так, цитируя себя самого, он вместо «В тринадцатом году, еще не понимая...» в пятидесятые годы пишет: «В семнадцатом году»,— и примерам нет числа. Реальность и литература проникают друг в друга, «взаимно искажают отраженья». И все возвращается в туман — в тот самый ни с чем не сравнимый желтый туман петербургской зимы:

«Молодой Блок читает стихи... и хоронят «испепеленного» Блока. Распутина убили вчера ночью. А этого человека, говорящего речь (слов не слышно, только ответный глухой одобрительный рев),— зовут Ленин...

Воспоминания? Сны?

Какие-то лица, встречи, разговоры — на мгновение встают в памяти без связи, без счета. То совсем смутно, то с фотографической точностью... И опять — стеклянная мгла, сквозь мглу — Нева и дворцы; проходят люди, падает снег. И куранты играют «Коль славен...».

Нет, куранты играют «Интернационал».

Очень трудно признать этот отрывок прозой, в крайнем случае это — стихотворение в прозе (на самом деле процитированы «Петербургские зимы» — пресловутый «документ»). Здесь мы вплотную подходим к произведению, представляющему собою уникальный образец этого жанра,— к «поэме в прозе» «Распад атома», хотя сам Г. Иванов так ее никогда не называл, а исследователи заносили то в прозу, то в стихи по своему хотению. Книга была закончена — если

верить дате, что у Г. Иванова не всегда возможно,— 24 февраля 1937 года, накануне многолетнего, до середины сороковых годов затянувшегося полного молчания. «Лирической поэмой в прозе» назвал «Распад атома» самый прозорливый из недругов Георгия Иванова — В. Ходасевич в рецензии на эту книгу, опубликованной в газете «Возрождение» 28 января 1938 года.: «Во всяком случае, ее стихотворная и лирическая природа очевидна. С первого взгляда модных ныне «человеческих документов», но это было бы неверно и несправедливо (так в газете.— *Е. В.*). К чести Георгия Иванова необходимо подчеркнуть, что его книга слишком искусственна и искусна для того, чтобы ее отнести к этому убогому роду литературы». Ходасевич указал и на то, что в «Распаде атома» Г. Иванов прежде всего отказался от обычного в лирике знака равенства между автором и героем. Но ниже следует утверждение: «...беда в том, что Иванов все-таки по природе и свойствам дарования — поэт, а не беллетрист, и построить историю героя так, чтобы она была объективно убедительна, ему не удалось». С Ходасевичем не поспоришь: может быть, и не удалось, нет лишь уверенности, что в своем творчестве Г. Иванов где бы то ни было вообще хотел быть объективно убедителен — субъективное начало было для него в творчестве неизмеримо более значительным (а для нынешнего читателя — более ценным). Герою Иванова, замечает Ходасевич, «кажется, будто он «перерос» искусство. В действительности он до него не дорос. ⟨...⟩ Пушкинский стих об Арагве он цитирует несколько раз — и всегда с ошибкой: «На холмы Грузии легла ночная мгла». У Пушкина этой безвкусицы, этого «легла мгла» нет, Пушкин не мог ее написать,— а герой Иванова ее твердит, он даже *повторить* не умеет того, что Пушкин умел *написать*, потому что у него уши заложены».

Перед нами удивительный случай, когда уши оказались заложены у самого Ходасевича. Герой Георгия Иванова не только Пушкина процитировать не умеет — не умеет он процитировать и Крученых: бормочет «матерную брань с метафизического забора» (тоже много раз) — «дыр бу щыл убещур». Впору и за Крученых обидеться и написать, что у того подобной «безвкусицы» быть не могло, а было — «Дыр бул щыл убеш щур». Но если для Юрьева в «Третьем Риме» стихи — «баобабы», а искусство не существует вовсе, то лирический герой «Распада атома» в отчаянии вопрошает: «Пушкинская Россия, зачем ты нас предала?» — и твердит на разные лады о бессмыслице искусства, уже ненужного в тридцатые годы XX века. «Говорите за себя!» — недвусмысленно отвечает Ходасевич — не Иванову, а герою. Но именно врастание в облик *такого* героя вернуло в послевоенные годы Георгия Иванова в литературу и позволило создать те полторы-две сотни лирических миниатюр, благодаря которым

его имя никогда уже не затеряется среди имен русских поэтов «серебряного века». Поэзия позднего Иванова — это не отрицание искусства, а одно лишь отчаяние, погребенное под толщей огромного поэтического дара. «Отчаянье я превратил в игру...» — так начинается одно из последних его стихотворений, датированных августом 1958 года. А знаменитый цикл из двух стихотворений («Друг друга отражают зеркала...») — ключ к пониманию личности позднего Иванова и, неожиданным образом, к пониманию «Распада атома». Но Ходасевич умер задолго до этого времени, оценить значение Иванова сумели позднее Нина Берберова, Владимир Вейдле — очень немногие современники поэта, на чью долю выпало двойное счастье — долгой жизни и позднего творческого созревания.

В юности Иванова и его героев мучил вопрос — отчего никак не пишется лучше, чем прежде. В последнее десятилетие жизни Иванова стал мучить вопрос прямо противоположный:

Мне говорят — ты выиграл игру!
Но все равно. Я больше не играю.
Допустим, как поэт я не умру,
Зато как человек я умираю.

Утверждение это явно противоречит словам самого Иванова, которыми он заканчивал рецензию (1931) на «Флаги» Поплавского, относительно того, что дело поэта — создать «кусочек вечности» любой ценой, даже ценой жизни. В противоречии этом есть, между тем, закономерность: по Иванову, зеркала искажают друг друга и друг без друга немыслимы. Лирический герой сходит со страницы и входит в почти уже отмершую телесную оболочку поэта, чтобы начать писать стихи. А реальный Георгий Иванов все больше начинает напоминать чудовищную карикатуру на человека, персонажа давно минувших петербургских дней — Александра Ивановича Тинякова.

О встречах с ним до революции сохранились «мемуары» Г. Иванова, которые читатель найдет в третьем томе. «Петербургские зимы» этого фрагмента не содержат, что характерно: именно воспоминания «подлинные» стремился Иванов в книгу не включать — так, он убрал из нее фотографически точный этюд о «Лукоморье», многое другое. Вот почему вероятность того, что встреча на «поплавке» или по крайней мере приход в гости к Тинякову действительно имели место, довольно велика. Документально известно, что Тиняков очень тяготился домашним одиночеством: «Сижу я вечер за вечером один в своей комнате и знаю, что могу просидеть сто вечеров и никто ко мне не придет» (письмо Тинякова к Б. Садовскому от 2—3 октября 1914 г.). На «поплавке» — по Г. Иванову — допившийся до галлюцинаций Тиняков бор-

мочет по-французски знаменитое стихотворение Бодлера — «Падаль».

Несомненную роль в творчестве Тинякова играло «жизнеделание» — он определенно хотел «передьяволить дьявола», «перебодлерить» Бодлера: уж если Бодлер пишет о том, как пребывал «с еврейкой бешеной простертый на постели», то Тиняков вдохновенно забирается в подъезд «со старой нищенкой, осипшей, полупьяной», если Бодлер воспевает кота, то Тиняков проклинает собаку — параллелей не перечесть. Но... вот таланта Бодлера Тинякову недоставало. И «проклятый поэт» из него не получился — после скандала 1916 года (о нем см. в «Невском проспекте») он исчез из Петрограда и снова возник в Петрограде около 1920 года «с мандатом какой-то из провинциальных ЧК».

О Тинякове писал Ходасевич в 1935 году в статье «Неудачники», а позднее — М. Зощенко в «Повести о разуме», где Тиняков фигурирует под именем поэта Т-ва. Зощенко подробно рассказывает историю того, как Тиняков стал профессиональным нищим, и цитирует его стихи из третьей, последней книги, изданной «на средства автора» в 1924 году:

За кусок конины с хлебом
Иль за фунт гнилой трески
Я, порвав все связи с небом,
В ад полезу в батраки!

Дайте мне ярмо на шею,
Но дозвольте мне поесть,
Сладко сытому лакею
И горька без пищи честь!

Думается, живший в те годы в Париже Иванов этой книги Тинякова никогда в глаза не видел. Но образ его оказал на позднюю поэзию Георгия Иванова несомненное влияние.

...Чья рука написала в конце 1940-х годов такие строки:

Надобно опохмелиться.
Начал дедушка молиться:
«Аллилуйя, аль-люли,
Боже, водочки пошли!»
Дождик льет, собака лает,
Водки Бог не посылает.

Трудно поверить, что не рука автора цитированного выше «Моления о пище». А это — стихи Георгия Иванова. Но Г. Иванов, которому от природы было дано очень и очень много, превращая себя в «Распаде атома» и в поздних стихах в «проклятого поэта», с одной стороны, не рядился в нищие, с другой — располагал подлинным поэтическим

даром, позволяющим творчески выразить и преобразить все то прекрасное, все то безобразное, что виделось ему в себе и в окружающем мире. Тиняков ценой страшного «жизнеделания» обессмертил себя как скверный литературный анекдот. Иванов — говоря его же словами — «ценой собственной гибели» вошел в русскую литературу и занял в ней очень важное, одному ему принадлежащее место. И не в стороне от русской классической традиции — прямо в ней; свидетельством тому не одни реминисценции из Пушкина и Тютчева, но и полемика с ними, доходящая до пародирования: у Георгия Иванова священной арфе Серафима внемлет не «поэт», а... петух; но в «Посмертном дневнике» читаем восхищенное:

И Тютчев пишет без помарки:
«Оратор римский говорил...»

Именно Тютчев, воспринятый Ивановым и прямо, и опосредствованно через Блока, может, пожалуй, считаться прямым литературным «предком» Иванова: по-тиняковски пародируя Тютчева, находил Георгий Иванов путь к поэтическому катарсису, а стихи из «Дневника» и «Посмертного дневника» — катарсис едва ли не в чистом виде.

О послевоенных годах жизни Г. Иванова, проведенных в Париже (1946—1951), вспоминает во втором томе книги «Курсив мой» Нина Берберова: «...Г. В. Иванов, который в эти годы писал свои лучшие стихи, сделав из личной судьбы (нищеты, болезней, алкоголя) нечто вроде мифа саморазрушения, где, перешагнув через наши обычные границы добра и зла, дозволенного (кем?), он далеко оставил за собой всех действительно живших «проклятых поэтов» и всех вымышленных литературных «пропащих людей»: от Аполлона Григорьева до Мармеладова и от Тинякова до старшего Бабичева. ⟨...⟩ В его присутствии многим делалось не по себе, когда, изгибаясь в талии — котелок, перчатки, палка, платочек в боковом кармане, монокль, узкий галстучек, легкий запах аптеки, пробор до затылка,— изгибаясь, едва касаясь губами женских рук, он появлялся, тягуче произносил слова, шепелявя теперь уже не от природы (у него был прирожденный дефект речи), а от отсутствия зубов»[1].

Берберова цитирует три письма, полученных ею в начале пятидесятых годов от Иванова. Эпистолярное наследие Г. Иванова еще только-только начинает изучаться, именно поэтому эти немногие строки, обращенные к подруге

[1] Берберова Н. Курсив мой, т. 2, с. 547.

былого непримиримого недруга, имеют для нас особое значение: «Я не заслуживаю, вероятно, ни внимания, ни дружбы — но от этого не уменьшается, может быть, увеличивается, напротив, потребность в них. 〈...〉 Как ни странно, мне очень не хочется, несмотря на усталость и скуку моего существования, играть в ящик по, представьте, наивно-литературным соображениям, вернее инстинкту: я, когда здоровье и время позволяют, пишу уже больше года некую книгу. «Свожу счеты», только не так, как естественно ждать от меня. 〈...〉 Я пишу, вернее записываю «по памяти», свое подлинное отношение к людям и событиям, которое всегда «на дне» было совсем иным, чем на поверхности, и если отражалось, разве только в стихах, тоже очень не всегда. 〈...〉 Не берусь судить — как не знаю, допишу ли — но, по-моему, мне удается сказать самое важное, то, чего не удается в стихах, и поэтому мне «надо» — книгу мою дописать 〈...〉. Но лучше все-таки хоть не книгу, так письмо Вам, какое ни есть, дописать и отправить. «Жизнь, которая мне снилась» — это предполагаемое название»[1].

Георгий Иванов дописал письмо, но никакой цельной прозаической книги в эти годы не написал (впрочем, о той же книге воспоминаний неоднократно заходил вопрос в его переписке с «Новым журналом»). Иванову снилась книга, которую он пишет. А наяву он писал все новые и новые поэтические миниатюры, одна другой лучше, составившие его последний поэтический сборник и примыкающий к нему «Посмертный дневник», именно те ироничные и подчеркнуто антиакмеистические стихи, которые вывели его в первый ряд русских поэтов. Сон и явь взаимопроникали, и слагался еще один, последний слой легенды Георгия Иванова — и мифа о Георгии Иванове.

«Миф не означает чего-то противоположного реальному, а, наоборот, указывает на глубочайшую реальность»[2]. Миф, сон наяву — лейтмотивы творчества Г. Иванова; в опубликованном в 1915 году одном из самых ранних рассказов («Монастырская липа») герой не может понять, то ли была встреча у него с героиней, то ли она ему приснилась. В «Третьем Риме» несколько раз подробно описано, как герой трудно спит и с каким усилием просыпается. При этом героям Иванова совсем нет нужды при наступлении нового дня думать, что «надо снова жить», более всего им хочется спать дальше и видеть какой-то свой «сон золотой» — в лирике над «бессмертия сном золотым»

[1] Там же, с. 556—557.
[2] Бердяев Н. Смысл истории. М., 1990, с. 43.

Г. Иванов неоднократно издевался, но именно в силу того, что для него этот вопрос был актуален.

Допустим, как поэт я не умру...

— писал Георгий Иванов с долей сомнения. Но сегодня сомнений уже нет — не умер, не умрет, ибо «выиграл игру» — в самом прямом значении этих слов.

Евгений Витковский

ЛАМПАДА

* * *

Из белого олонецкого камня
Рукою кустаря трудолюбивой
Высокого и ясного искусства
Нам явлены простые образцы.

И я гляжу на них в тревоге смутной,
Как, может быть, грядущий математик,
В ребячестве еще не зная чисел,
В учебник геометрии глядит.

Я разлюбил созданья живописцев,
И музыка мне стала тяжким шумом,
И сон мои одолевает веки,
Когда я слушаю стихи друзей.

Но с каждым днем сильней душа томится
Об острове зеленом Валааме,
О церкви из олонецкого камня,
О ветре, соснах и волне морской.

* * *

Тонким льдом затянуты лужицы,
Словно лед, чиста синева.
Не сверкает уже, не кружится
Обессиленная листва.
В сердце нет ни тоски, ни радости,
Но покоя в нем тоже нет:
Как забыть о весенней сладости,
О сиянии прошлых лет?..

* * *

Когда светла осенняя тревога
В румянце туч и шорохе листов,
Так сладостно и просто верить в Бога,
В спокойный труд и свой домашний кров.

Уже закат, одеждами играя,
На лебедях промчался и погас.
И вечер мглистый и листва сырая,
И сердце узнает свой тайный час.

Но не напрасно сердце холодеет:
Ведь там,за дивным пурпуром богов,
Одна есть сила. Всем она владеет —
Холодный ветр с летейских берегов.

* * *

Цвета луны и вянущей малины —
Твои, закат и тление — твои,
Тревожит ветр пустынные долины,
И, замерзая, пенятся ручьи.

И лишь порой, звеня колокольцами,
Продребезжит зеленая дуга.
И лишь порой за дальними стволами —
Собачий лай, охотничьи рога.

И снова тишь... Печально и жестоко
Безмолвствует холодная заря.
И в воздухе разносится широко
Мертвящее дыханье октября.

* * *

Вновь с тобою рядом лежа,
Я вдыхаю нежный запах
Тела, пахнущего морем
И миндальным молоком.

Вновь с тобою рядом лежа,
С легким головокруженьем
Я заглядываю в очи,
Зеленей морской воды.

Влажные целую губы,
Теплую целую кожу,
И глаза мои ослепли
В темном золоте волос.

Словно я лежу, обласкан
Рыжими лучами солнца,
На морском песке, и ветер
Пахнет горьким миндалем.

* * *

Прощай, прощай, дорогая! Темнеют дальние горы.
Спокойно шумят деревья. С пастбищ идут стада.
В последний раз гляжу я в твои прозрачные взоры,
Целую влажные губы, сказавшие: «Навсегда».

Вот я расстаюсь с тобою, влюбленный еще нежнее,
Чем в нашу первую встречу у этих белых камней.
Так же в тот вечер шумела мельница, и над нею
Колыхалась легкая сетка едва озаренных ветвей.

Но наша любовь увидит другие леса и горы,
И те же слова желанья прозвучат на другом языке.
Уже я твердил когда-то безнадежное имя Леноры,
И ты, ломая руки, Ромео звала в тоске.

И как мы сейчас проходим дорогой, едва озаренной,
Прижавшись тесно друг к другу, уже мы когда-то шли.
И вновь тебя обниму я, еще нежнее влюбленный,
Под шорох воды и листьев на теплой груди земли.

* * *

Улыбка одна и та же,
Сухой неподвижен рот.
Такие, как ты,— на страже
Стоят в раю у ворот.

И только если ресницы
Распахнутся, глянут глаза,
Кажется: реют птицы
И где-то шумит гроза.

* * *

Благословенная прохлада,
Тосканы сумрак голубой...
Я помню кисти винограда
На блюде с древнею резьбой.

И девочки-крестьянки руки,
Что миртовый венок плела,
Слова любви, напев разлуки
И плеск размеренный весла.

Туманы моря наплывали,
И месяц розовый вставал,
И волны — берег целовали,
И берег — волнам отвечал.

* * *

Неправильный круг описала летучая мышь,
Сосновая ветка качнулась над темной рекой,
И в воздухе тонком блеснул, задевая камыш,
Серебряный камешек, брошенный детской рукой.

Я знаю, я знаю, и море на убыль идет,
Песок засыпает оазисы, сохнет река,
И в сердце пустыни когда-нибудь жизнь расцветет,
И розы вздохнут над студеной водой родника.

Но если синей в целом мире не сыщется глаз,
Как темное золото, косы и губы, как мед,
Но если так сладко любить, неужели и нас
Безжалостный ветер с осенней листвой унесет.

И, может быть, в рокоте моря и шорохе трав
Другие влюбленные с тайной услышат тоской
О нашей любви, что погасла, на миг просияв
Серебряным камешком, брошенным детской рукой.

* * *

Черные вишни, зеленые сливы,
Желтые груши повисли в садах...
Ясною осенью будешь счастливой,
Будешь, мечтая, гулять при звездах.

Все неизменно: любимые книги,
В горнице низкой цветы на окне,
И нетяжелые скуки вериги,
И равнодушная память о мне.

* * *

Прошло туманное томленье,
Все ясно — в сердце острие —
Моя любовь, мое мученье,
Изнеможение мое.

Я ничего забыть не в силах
И глаз не в силах отвести
От слабых рук, от взоров милых,
От губ, мне шепчущих: «Прости».

Поймите, я смертельно болен,
Отравлен, скован навсегда.
В темнице, где лежу безволен,
Лишь Ваше имя, как звезда.

Но это горькое томленье
Милее мне, чем светлый рай.
Когда мне скажут: «Выбирай»,
Отвергну волю и целенье,
Целуя Вам одежды край.

* * *

Я в жаркий полдень разлюбил
Природы сонной колыханье,
И ветра знойное дыханье,
И моря равнодушный пыл.

Вступив на берег меловой,
Рыбак бросает невод свой,
Кирпичной, крепкою ладонью
Пот отирает трудовой.

Но взору, что зеленых глыб
Отливам медным внемлет праздно,
Природа юга безобразна,
Как одурь этих сонных рыб.

Прибоя белая черта,
Шар низкорослого куста,
В ведре с дымящейся водою
Последний, слабый всплеск хвоста!..

Ночь! Скоро ли поглотит мир
Твоя бессонная утроба?
Но длится полдень, зреет злоба,
И ослепителен эфир.

* * *

Над морем северным холодный запад гас,
Хоть снасти дальние еще пылали красным.
Уже звучал прибой и гальционы глас
Порывом осени холодным и ужасным.

В огромное окно с чудесной высоты
Я море наблюдал. В роскошном увяданьи,
В гармонии валов жило и пело ты,
Безумца Тернера тревожное созданье.

В тумане грозовом дышалось тяжело...
Вдруг слава лунная, пробившись, озарила
Фигуру рыбака, и парус, и весло,
И яростью стихий раздутое ветрило!

* * *

Зефир ночной волной целебной
Повеял снова в мир волшебный,
И одинокая звезда
Глядит, как пролетают долу,
Внимая горнему Эолу,
Туманных лебедей стада.

Не потревожит ветер влажный
Тяжелых лип дремоты важной,
Чей сумрак благосклонный скрыл
Блаженство рук переплетенных,
Биенье сердца, жар влюбленных,
И тайный вздох, и нежный пыл.

Лишь моря ровное дыханье
Сквозь легкое благоуханье
Уносит свежесть сонных вод,
Да чайка вскрикнет и утихнет,
Да трубка пешехода вспыхнет
И в отдаленьи пропадет.

Но мне печальна эта нега!
Как путник, что искал ночлега
И не нашел его в пути,
Бредет с тяжелою сумою,
Так я с любовью и тоскою,
О Муза, осужден идти!

* * *

Сквозь зеленеющие ветки
Скользят зеленые лучи
На занесенные ракетки
И беспокойные мячи.

О, милый Теннис, легкий танец,
Твоя забава не груба —
Сиянье глаз, и щек румянец,
И легких мячиков борьба.

В азарте игроки смелеют,
Уверен каждый взмах руки,
На желтом гравии белеют
Из парусины башмаки.

Но отпарированы метко
Удары все, крепчает зной,
А отдаленная беседка
Полна прохладной тишиной.

Ах, башмаки натерты мелом,
Но башмаками ль занят ум? —
Забыл, наверно, мальчик в белом,
Что зелень пачкает костюм.

Слова любви журчат прилежно,
Ее рука в его руке,
И солнце розовеет нежно
На милой девичьей щеке.

* * *

Италия! твое Амуры имя пишут
На вечном мраморе, концами нежных стрел,
К тебе летят сердца, тобою музы дышат,
Великих вдохновлять счастливый твой удел.

Увы, не созерцал я львов святого Марка,
Дворцов Флоренции и средиземных волн,
Тех рощ, где о земной любви вздыхал Петрарка,
Где Ариост блуждал, своих напевов полн.

Но, как отверженный к потерянному раю,
Душой к тебе стремлюсь. Мечтателей луна
Всплывает надо мной. Забывшись, повторяю
Канцоны сладкие, златые имена.

И слышу рокот лир и голоса влюбленных,
И вижу дряхлые руины над водой,
И в черных небесах, звездами окропленных,
Великих призраки проходят чередой.

* * *

Еще горячих губ прикосновенье
Я чувствую, и в памяти еще
Рисуется неясное виденье,
Улыбка, шарф, покатое плечо.

Но ветер нежности, печалью вея
И так успокоительно звеня,
Твердит, что мне пригрезилась Психея,
Во сне поцеловавшая меня.

* * *

Я вспоминаю влажные долины
Шотландии, зеленые холмы,
Луну и все, что вспоминаем мы,
Услышав имя нежное Алины.

Осенний парк. Средь зыбкой полутьмы
Шуршат края широкой пелерины,
Мелькает облик девушки старинной,
Прелестный и пленяющий умы.

Широкая соломенная шляпа,
Две розы, шаль, расшитая пестро,
И Гектора протянутая лапа.

О, легкие созданья Генсборо,
Цвета луны и вянущей малины
И поцелуй мечтательной Алины!

* * *

Видел сон я: как будто стою
В золотом и прохладном раю,

И похож этот рай и закат
На тенистый Таврический сад.

Только больше цветов и воды,
И висят золотые плоды

На ветвистых деревьях его,
И кругом — тишина, торжество.

Я проснулся и вспомнил тотчас
О морях, разделяющих нас,

О письме, что дойдет через год
Или вовсе к тебе не дойдет.

Отчего же в душе, отчего
Тишина, благодать, торжество?

Словно ты прилетела ко мне
В этом солнечном лиственном сне,

Словно ты прилетела сказать,
Что не долго уже ожидать.

* * *

Здесь волн Коцитовых холодный ропот глуше.
Клубится серая и пурпурная мгла.
В изнеможении, как жадные тела,
Сплелися грешников истерзанные души.

Лев медный одного когтистой лапой душит,
Змея узорная — другого обвила.
На свитке огненном — греховные дела
Начертаны... Но вдруг встревоженные уши

Все истомившиеся жадно напрягли!
За трубным звуком вслед — сиянья потекли,
Вмиг смолкли возгласы, проклятия, угрозы.

Раскрылася стена, и легкою стопой
Вошел в нее Христос в одежде золотой,
Влетели ангелы, разбрасывая розы.

* * *

Снег уже пожелтел и обтаял,
Обвалились ледяшки с крыльца.
Мне все кажется, что скоротаю
Здесь нехитрую жизнь до конца.

В этом старом помещичьем доме,
Где скрипит под ногами паркет,
Где все вещи застыли в истоме
Одинаковых медленных лет.

В сердце милые тени воскресли,
Вспоминаю былые года,—
Так приятно в вольтеровском кресле
О былом повздыхать иногда

И, в окно тихим вечером глядя,
Видеть легкие сны наяву,
Не смущаясь сознанью, что ради
Мимолетной тоски — я живу.

* * *

Я не любим никем! Пустая осень!
Нагие ветки средь лимонной мглы.
И за киотом дряхлые колосья
Висят пропылены и тяжелы.

Я ненавижу полумглу сырую
Осенних чувств и бред гоню, как сон.
Я щеточкою ногти полирую
И слушаю старинный полифон.

Фальшивит нежно музыка глухая
О счастии несбыточных людей
У озера, где, вод не колыхая,
Скользят стада бездушных лебедей.

* * *

Какая-то мечтательная леди
Теперь глядит в широкое окно.
И локоны у ней желтее меди,
Румянами лицо оттенено.

Колеблется ее индийский веер,
Белеет мех — ангорская коза.
Устремлены задумчиво на север
Ее большие лживые глаза.

В окне — закат роняет пепел серый
На тополя, кустарники и мхи...
А я стою у двери, за портьерой,
Вдыхая старомодные духи...

ЗАСТАВКА

Венецианское зеркало старинное,
Вкруг фарфоровыми розами увитое...
Что за мальчик с улыбкою невинною
Расправляет крылышки глянцевитые

Перед ним? Не трудно проказливого
Узнать Купидона милого,—
Это он ранил юношу опасливого,
Как ни плакал тот, как ни просил его.

Юноша лежит, стрелою раненный,
Девушка напротив — улыбается.
Оба — любовью отуманены...
Розы над ними сгибаются.

* * *

Настанут холода,
Осыпятся листы —
И будет льдом — вода.
Любовь моя, а ты?

И белый, белый снег
Покроет гладь ручья
И мир лишится нег...
А ты, любовь моя?

Но с милою весной
Снега растают вновь.
Вернутся свет и зной —
А ты, моя любовь?

* * *

В альбом Т. П. Карсавиной

Пристальный взгляд балетомана,
Сцены зеленый полукруг,
В облаке светлого тумана
Плеч очертания и рук.

Скрипки и звучные валторны
Словно измучены борьбой,
Но золотистый и просторный
Купол, как небо, над тобой.

Крылья невидимые веют,
Сердце уносится, дрожа,
Ввысь, где амуры розовеют,
Рог изобилия держа.

* * *

Моей тоски не превозмочь,
Не одолеть мечты упорной;
Уже медлительная ночь
Свой надвигает призрак черный.

Уже пустая шепчет высь
О часе горестном и близком.
И тени красные слились
Над солнечным кровавым диском.

И все несносней и больней
Мои томления и муки.
Схожу с гранитных ступеней,
К закату простираю руки.

Увы — безмолвен, как тоска,
Закат, пылающий далече.
Ведь он и эти облака
Лишь мглы победные предтечи.

* * *

Склонились на клумбах тюльпаны,
Туманами воздух пропитан.
Мне кажется, будто бы спит он,
Истомой весеннею пьяный.

Луна, альмадинов кровавей,
Над садом медлительно всплыла
И матовый луч уронила
На тускло мерцающий гравий.

Иду у реки осторожно...
Боюсь Водяного — утопит.
Томления кубок не допит,
Но больше мечтать — невозможно...

* * *

На две части твердь разъята:
Лунный серп горит в одной,
А в другой костер заката
Рдеет красной купиной.

Месяц точит струи света,
Взятый звездами в полон.
Даль еще огнем одета,
Но уже серебрян лен.

И над белою молельной
Ночи грусть плывет, тиха,
Льется музыкой свирельной
Неживого пастуха.

Скоро смолкнет шум неясный,
В тишине поля уснут...
И утонет месяц красный,
Не осилив звездных пут.

ОТТЕПЕЛЬ

Снегом наполнена урна фонтана,
Воды замерзшие больше не плачут.
Нимфа склонилась в тоске у бассейна,
С холодом зимним бороться не в силах.

Всплыло печальное светлое солнце,
Белую землю стыдливо пригрело.
Вспомнила нимфа зеленые листья,
Летнее солнце в закатной порфире,

Брызги фонтана в прозрачности милой,
Лунную негу и вздохи влюбленных...
Слезы из глаз у нее полилися,
Тихо к подножью стекая.

* * *

Луна упала в бездну ночи,
Дремавший ветер окрылив,
И стал тревожней и короче —
Уже невидимый — прилив.

И мрака черная трясина
Меня объяла тяжело.
И снова сердце без причины
В печаль холодную ушло.

Я ждал — повеют ароматы,
Я верил — вспыхнут янтари...
...И в полумгле зеленоватой
Зажегся тусклый нимб зари.

* * *

Бродят понуро
Фавны и нимфы
В чаще лесной.
Царство амура
Скрыли заимфы
Осени злой.

Рдяные сети
Листьев огнистых
Падают в лог.
Осени дети
Из аметистов
Вяжут венок.

Голые сучья
Дрогнут от хлада,
Клонятся вниз.
Тщетно кипучий
Сок винограда
Льет Дионис...

* * *

Месяц стал над белым костелом,
Старый сад шепнул мне: «Усни»...
Звезды вечера перед Божьим престолом
Засветили тихие огни.

И плывут кружевные туманы,
Белым флером все заволокли.
Я иду сквозь нежный сумрак, пьяный
Тонким дыханием земли.

Мной владеет странная истома,
Жаля душу, как прожитые дни.
Шелест сада грустно-знакомый
Неотступно шепчет: «Усни»...

* * *

Ночь светла, и небо в ярких звездах.
Я совсем один в пустынном зале;
В нем пропитан и отравлен воздух
Ароматом вянущих азалий.

Я тоской неясною измучен
Обо всем, что быть уже не может.
Темный зал — о, как он сер и скучен! —
Шепчет мне, что лучший сон мой прожит.

Сколько тайн и нежных сказок помнят,
Никому поведать не умея,
Анфилады опустелых комнат
И портреты в старой галерее.

Если б был их говор мне понятен!
Но увы — мечта моя бессильна.
Режут взор мой брызги лунных пятен
На портьере выцветшей и пыльной.

И былого нежная поэма
Молчаливей тайн иероглифа.
Все бесстрастно, сумрачно и немо.
О мечты — бесплодный труд Сизифа!

* * *

Он — инок. Он — Божий. И буквы устава
Все мысли, все чувства, все сказки связали.
В душе его травы, осенние травы,
Печальные лики увядших азалий.

Он изредка грезит о днях, что уплыли.
Но грезит устало, уже не жалея,
Не видя сквозь золото ангельских крылий,
Как в танце любви замерла Саломея.

И стынет луна в бледно-синей эмали,
Немеют души умирающей струны...
А буквы устава все чувства связали,—
И блекнет он, Божий, и вянет он, юный.

* * *

Маскарад был давно, давно окончен,
Но в темном зале маски бродили,
Только их платья стали тоньше:
Точно из дыма, точно из пыли.

Когда на рассвете небо оплыло,
Они истаяли, они исчезли.
Осеннее солнце, взойдя, озарило
Бледную девочку, спящую в кресле.

* * *

Ах, небосклон светлее сердолика:
Прозрачен он, и холоден, и пуст.
Кровавится среди полей брусника,
Как алость мертвых уст.

Минорной музыкой звучат речные струи,
Скользят над влагой тени лебедей,
А осени немые поцелуи
Все чаще, все больней.

* * *

Вот — письмо. Я его распечатаю
И увижу холодные строки.
Неприветливые и далекие,
Как осенью — статуи...

Разрываю конверт... Машинально
Синюю бумагу перелистываю.
Над озером заря аметистовая
Отцветает печально.

Тихая скорбь томительная
Душу колышет.
Никогда не услышит
Милого голоса обитель моя.

* * *

Осени пир к концу уж приходит:
Блекнут яркие краски.
Солнце за ткани тумана
Прячется чаще и редко блистает.

Я тоской жестокой изранен,
Сердце тонет в печали.
Нету со мной любимой.
Ах! не дождаться мне радостной встречи.

Ропщет у ног прибой непокорный,
Камни серые моя.
Тщетно я лирные звуки
С злобной стихией смиренно сливаю.

Не укротить вспененной пучины,
С ветром спорить — бесцельно.
Страсти бесплодной волненья
В сердце моем никогда не утихнут.

Осени пир к концу уж приходит,
Сердце тонет в печали.
Слабые струны, порвитесь!
Падай на камни, бессильная лира...

У ОКНА

На портьер зеленый бархат
Луч луны упал косой.
Нем и ясен в вещих картах
Неизменный жребий мой:

Каждый вечер сна, как чуда,
Буду ждать я у окна.
Каждый день тебя я буду
Звать, ночная тишина.

Под луною призрак грозный
Окрыленного коня
Понесет в пыли морозной
Королевну и меня.

Но с зарей светло и гневно
Солнце ввысь метнет огонь,
И растает королевна,
И умчится белый конь.

Тосковать о лунном небе
Вновь я буду у окна,
Проклиная горький жребий
Неоконченного сна.

* * *

Луна взошла совсем как у Верлена:
Старинная в изысканном уборе,
И синие лучи упали в море.

«Зачем тобой совершена измена...» —
Рыдал певец, томясь в мишурном горе,
И сонная у скал шуршала пена.

РАННЯЯ ВЕСНА

Зима все чаще делала промахи,
Незаметно растаяли снега и льды.
И вот уже радостно одеты сады
Пахучими цветами черемухи.

В зелени грустит мраморный купидон
О том, что у него каменная плоть.
Девушка к платью спешит приколоть
Полураспустившийся розовый бутон.

Ах, ранняя весна, как мила мне ты.
Какая неожиданная радость для глаз:
Проснувшись утром, увидеть тотчас
Залитые веселым солнцем цветы.

* * *

Однажды под Пасху мальчик
Родился на свете,
Розовый и невинный,
Как все остальные дети.

Родители его были
Не бедны и не богаты,
Он учился, молился Богу,
Играл в снежки и солдаты.

Когда же подрос молодчик,
Пригожий, румяный, удалый,
Стал он карманным вором,
Шулером и вышибалой.

Полюбил водку и женщин,
Разучился Богу молиться,
Жил беззаботно, словно
Дерево или птица.

Сапоги Скороход, бриолином
Напомаженный, на руку скорый...
И в драке во время дележки
Его закололи воры.

В Калинкинскую больницу
Отправили тело,
А душа на серебряных крыльях
В рай улетела.

Никто не служил панихиды,
Никто не плакал о Ване,
Никто не знает, что стал он
Ангелом в Божьем стане.

Что ласкова с ним Божья Матерь,
Любит его Спаситель,
Что, быть может, твой или мой он
Ангел-хранитель.

* * *

Вновь сыплет осень листьями сухими
На мерзлую землю.
Вновь я душой причастен светлой схиме
И осени внемлю.

Душа опять златой увита ложью,
И радостна мука.
Душа опять, стремясь по бездорожью,
Ждет трубного звука.

Вновь солнце Божие плывет, деля туманы,
К обманному раю.
Вновь солнце Божие мои открыло раны,
И я — умираю.

* * *

1

О, сердце, о, сердце,
Измучилось ты!
Опять тебя тянет
В родные скиты.

Где ясны криницы
В столетнем бору,
Родимые птицы
Поют поутру.

Чернеют овраги,
Грустит синева...
На дряхлой бумаге
Святые слова.

Бедны и напрасны
Все песни мои.
Так ясны, прекрасны
Святых житии.

Мне б синее утро
С молитвой встречать,
Спокойно и мудро
Работу начать.

И после отрады
Работы простой
Встречать у ограды
Закат золотой.

Здесь горько томиться,
Забыться невмочь;
Там — сладко молиться
В янтарную ночь.

Чтоб ветер ветвями
В окошко стучал,
Святыми словами
Душе отвечал;

Чтоб лучик зеленый
Дрожал на полу
И сладко иконы
Мерцали в углу.

2

Снова теплятся лампады
Ярче звезд у алтаря.
В сердце сладостной отрады
Занимается заря.

Много здесь убогих, грешных,
Ниц опущенных очей,
Много в пламени кромешных
Неотмоленных ночей.

Дышим мы на ладан росный,
Помним вечно про погост,
День скоромный или постный —
Вечно нам Великий Пост.

Но недаром бьем поклоны,
Молим Бога, чернецы:
Рай веселый, лог зеленый
Уж оставили гонцы.

Уж они коней торопят,
Тучам слушаться велят;
Все-то горести утопят,
Все-то муки исцелят.

3

Я вывожу свои заставки.
Желанен сердцу милый труд,
Цветы пурпурные, а травки —
Как самый ясный изумруд.

Какое тихое веселье,
Как внятно краски говорят.
В окошко выбеленной кельи
Глядится тополь, милый брат.

Уж вечер. Солнце над рекою.
Пылят дорогою стада.
Я знаю — этому покою
Не измениться никогда.

Молитвы, книги, размышленья
Да кисть в уверенной руке.
А горькое мое томленье —
Как горний облак вдалеке.

И сердце мудро ждет чего-то
Во имя, Господи, Твое.
Блеснет на ризах позолота,
И в монастырские ворота
Ударит Вестника копье.

* * *

Опять сияют масляной
Веселые огни.
И кажутся напраслиной
Нерадостные дни.

Как будто ночью северной
Нашла моя тоска
В снегу — листочек клеверный
В четыре лепестка.

И с детства сердцу милая,
Ты возникаешь вновь,
Такая непостылая
И ясная любовь.

Мороз немного колется,
Костры дымят слегка,
И сердце сладко молится
Дыханью ветерка.

Отвага молодецкая
И сани, что стрела,
Мне масляная детская
И русская мила.

Чья? Ванина иль Машина
Отвага веселей
На тройке разукрашенной
Летит среди полей?

Трусит кобылка черная,
Несется крик с катков,
А полость вся узорная
От пестрых лоскутков.

Я весел не напраслиной,—
Сбываются же сны,
Веселый говор масляной —
Преддверие весны.

И в ней нам обещание,
Что Пасха вновь придет,
Что сбудутся все чаянья,
Растает крепкий лед.

И белой ночью северной
Найдет моя тоска
Любви листочек клеверный
В четыре лепестка.

* * *

Снова снег синеет в поле
И не тает от лучей.
Снова сердце хочет воли,
Снова бьется горячей.

И горит мое оконце
Все в узоре льдистых роз.
Здравствуй, ветер, здравствуй, солнце,
И раздолье, и мороз!

Что ж тревожит и смущает,
Что ж томишься, сердце, ты?
Этот снег напоминает
Наши волжские скиты.

Сосен ствол темно-зеленый,
Снеговые терема,
Потемневшие иконы
Византийского письма.

Там, свечою озаренный,
Позабуду боль свою.
Там в молитве потаенной
Всю тревогу изолью.

Но увы! Дорогой зимней
Для молитвы и труда
Не уйти мне, не уйти мне
В Приволжье никогда.

И мечты мои напрасны
О далеком и родном.
Ветер вольный, холод ясный,
Снег морозный — за окном!

РОЖДЕСТВО В СКИТУ

Ушла уже за ельники,
  Светлее янтаря,
Морозного сочельника
  Холодная заря.
Встречаем мы, отшельники,
  Рождение Царя.

Белы снега привольные
  Над мерзлою травой,
И руки богомольные
  Со свечкой восковой.
С небесным звоном — дольние
  Сливают голос свой.

О всех, кто в море плавает,
  Сражается в бою,
О всех, кто лег со славою
  За родину свою,—
Смиренно-величавую
  Молитву пропою.

Пусть враг во тьме находится
  И меч иступит свой,
А наше войско — водится
  Господнею рукой.
Погибших, Богородица,
  Спаси и упокой.

Победная и грозная,
  Да будет рать свята...
Поем — а небо звездное
  Сияет — даль чиста.
Спокойна ночь морозная —
  Христова красота!

* * *

Мы пололи снег морозный,
Воск топили золотой
И веселою гурьбой
Провожали вечер звездный.
        Пропустила я меж рук
        Шутки, песни подруг.
Я — одна. Свеча горит.
Полотенцем стол накрыт.

Ну, крещенское гаданье,
Ты, гляди, не обмани!
Сердце, сердце, страх гони —
Ведь постыло ожиданье.
        Светлый месяц всплыл давно,
        Смотрит, ясный, в окно...
Серебрится санный путь...
Страшно в зеркало взглянуть!

Вдруг подкрадется, заглянет
Домовой из-за плеча!
Черный ворон, не крича,
Пролетит в ночном тумане...
        Черный ворон — знак худой.
        Страшно мне, молодой, —
Не отмолишься потом,
Если суженый с хвостом!

Будь что будет! Замирая,
Робко глянула в стекло.
В круглом зеркале — светло
Вьется дымка золотая...

Сквозь лазоревый туман
Словно бьет барабан,
Да идут из-за леска
Со знаменем войска!

Вижу — суженый в шинели,
С перевязанной рукой.
Ну и молодец какой —
Не боялся, знать, шрапнели:
Белый крестик на груди...
Милый, шибче иди!
Я ждала тебя давно,
Заживем, как суждено!

* * *

Простодушные березки
У синеющей воды,
На песке, как в желтом воске,
Отпечатаны следы.

Тянет хлебом и махоркой
Недалеко от жилья.
Плавной поступью с пригорка
Сходит милая моя.

Платье пестрое из ситца,
Туго косы сплетены.
Сердце — сердца не боится
В дни веселые весны.

Больно хлещется кустарник,
Запыхались — отдохнем,
Солнце светит, все янтарней,
Умирающим огнем.

* * *

Укрепился в благостной вере я,
Схима святая близка.
Райские сини преддверия,
Быстрые бегут облака.
Я прощаюсь с былью любимою,
Покидаю мой милый мир.
Чтоб одеться солнечной схимою,
В дальний путь иду наг и сир.
В сердце розы Христовы рдяные,
Цепь моя не тяжка,
Ухожу в зоревые туманы я —
Иная участь близка.

* * *

Пьяные мастеровые
Едут в лодке без весла.
Я цветочки полевые
Нарвала — да заплела.

Самый синенький цветочек
Словно милого глаза.
В воду бросила веночек,
Высыхай, моя слеза!

Пусть плывет себе, как знает...
Гаснет вечер голубой.
О другой мой друг вздыхает,
Горько плачет о другой.

Вот дымятся трубы фабрик,
Где-то паровоз ревет,
И венок мой, как кораблик,
Прямо к берегу плывет.

* * *

Кофейник, сахарница, блюдца,
Пять чашек с узкою каймой
На голубом подносе жмутся,
И внятен их рассказ немой:

Сначала — тоненькою кистью
Искусный мастер от руки,
Чтоб фон казался золотистей,
Чернил кармином завитки.

И щеки пухлые румянил,
Ресницы наводил слегка
Амуру, что стрелою ранил
Испуганного пастушка.

И вот уже омыты чашки
Горячей, черною струей.
За кофием играет в шашки
Сановник важный и седой.

Иль дама, улыбаясь тонко,
Жеманно потчует друзей.
Меж тем как умная болонка
На задних лапках служит ей.

И столько губ и рук касалось,
Причудливые чашки, вас,
Над живописью улыбалось
Изысканною — столько глаз.

И всех, и всех давно забытых
Взяла безмолвная страна,
И даже на могильных плитах,
Пожалуй, стерты имена.

А на кофейнике пастушки
По-прежнему плетут венки;
Пасутся овцы на опушке,
Ныряют в небо голубки;

Амур не изменяет позы,
И заплели со всех сторон
Неувядающие розы
Антуанеты медальон.

* * *

Беспокойно сегодня мое одиночество —
У портрета стою — и томит тишина...
Мой прапрадед Василий — не вспомню я отчества —
Как живой, прямо в душу глядит с полотна.

Темно-синий камзол отставного военного,
Арапчонок у ног и турецкий кальян.
В закорузлой руке — серебристого пенного
Круглый ковш. Только, видно, помещик не пьян.

Хмурит брови седые над взорами карими,
Опустились морщины у темного рта.
Эта грудь, уцелев под столькими ударами
Неприятельских шашек,— тоской налита.

Что ж? На старости лет с сыновьями не справиться,
Иль плечам тяжелы прожитые года,
Иль до смерти мила крепостная красавица,
Что завистник-сосед не продаст никогда?

Нет, иное томит. Как сквозь полог затученный
Прорезается белое пламя луны,—
Тихий призрак встает в подземельи замученной
Неповинной страдалицы — первой жены.

Не избыть этой муки в разгуле неистовом,
Не залить угрызения влагой хмельной...
Запершись в кабинете — покончил бы выстрелом
С невеселою жизнью,— да в небе темно.

И теперь, заклейменный семейным преданием,
Как живой, как живой, он глядит с полотна,
Точно нету прощенья его злодеяниям
И загробная жизнь, как земная,— черна.

* * *

Чем больше дней за старыми плечами,
Тем настоящее отходит дальше,
За жизнью ослабевшими очами
Не уследить старухе-генеральше.

Да и зачем? Не более ли пышно
Прошедшее? — Там двор Екатерины,
Сменяются мгновенно и неспешно
Его великолепные картины.

Усталый ум привык к заветным цифрам,
Былых годов воспоминанья нижет,
И, фрейлинским украшенная шифром,
Спокойно грудь, покашливая, дышит.

Так старость нетревожимая длится —
Зимою в спальне — летом на террасе...
...По вечерам — сама Императрица,
В регалиях и в шепчущем атласе,

Является старухе-генеральше,
Беседует и милостиво шутит...
А дни летят, минувшее — все дальше,
И скоро ангел спящую разбудит.

* * *

Зеленый фон — немного мутный,
Кирпично-серый колорит.
Читая в комнате уютной,
Старик мечтательный сидит.

Бюст Цезаря. Огонь в камине.
И пес, зевающий у ног.
И старомодный, темно-синий
Шелками вышитый шлафрок.

Пуская кольца, трубку курит,
А в желтой чашке стынет чай,
Поправит плед, и глаз прищурит,
И улыбнется невзначай.

Ничто покоя не тревожит,
А глянут месяца рога,
О раннем ужине доложит
С седыми баками слуга.

Кто этот старый русский барин,
И книгу он читает чью?
За окнами закат янтарен,
Деревья клонятся к ручью.

И снег, от времени поблеклый,
Желтеет там, и сельский вид
Сквозь нарисованные стекла
В вечернем зеркале глядит.

* * *

Она застыла в томной позе,
Непринужденна и легка.
Нежна улыбка. К чайной розе
Простерта тонкая рука.

Глядит: вдали фонтан дробится,
Звуча, как лепет райских арф.
По ветру облаком клубится
Ее зеленоватый шарф.

А дальше, зеркалом серея,
Овальный отражает пруд,
Как мальчик с хлыстиком, в ливрее,
И белый пони—знака ждут.

Уже нетерпеливый пони
Копытом роет у межи,
И вздрагивают на попоне
Инициалы госпожи.

Но та, как будто все забыла,
Непринужденна и легка,
Облокотившись о перила,
Рассматривает облака.

* * *

Когда луны неверным светом
Обрызган Павловский мундир,
Люблю перед твоим портретом
Стоять, суровый бригадир.

Нахмурил ты седые брови
И рукоятку шпаги сжал.
Да, взгляд такой на поле крови
Одну отвагу отражал.

И грудь под вражеским ударом
Была упорна и сильна,
На ней красуются недаром
Пяти кампаний ордена.

Простой, суровый и упрямый,
Ты мудро прожил жизнь свою.
И я пред потускневшей рамой
Как очарованный стою,

И сердцу прошлое желанней.
А месяц нижет жемчуга
На ордена пяти кампаний
И голубые обшлага.

* * *

В широких окнах сельский вид,
У синих стен простые кресла,
И пол некрашеный скрипит,
И радость тихая воскресла.

Вновь одиночество со мной...
Поэзии раскрылись соты.
Пленяют милой стариной
Потертой кожи переплеты.

Шагаю тихо взад, вперед,
Гляжу на светлый луч заката.
Мне улыбается Эрот
С фарфорового циферблата.

Струится сумрак голубой,
И наступает вечер длинный;
Тускнеет Наваринский бой
На литографии старинной.

Легки оковы бытия...
Так, не томясь и не скучая,
Всю жизнь свою провел бы я
За Пушкиным и чашкой чая.

ОТРЫВОК

Когда весенняя прохлада
Неизъяснима и нежна,
И веет сыростью из сада,
И подымается луна,
А луч зари горит прощальный
И отцветает на окне,
Так сладко сердцу и печально
Грустить о милой старине.

Мой дряхлый дом молчит угрюмо.
В просторных комнатах темно.
Какая тишина! Лишь шумы
Ветвей доносятся в окно.
Да звонко псы сторожевые
Порой вдали подымут лай.
Шуршите, липы вековые,
Заря, пылая, догорай!

Мне сладок этот вечер длинный,
Светло-зеленый блеск луны,
Всплывают в памяти картины
Невозвратимой старины.
Нет! То не зыбко задрожала
В высоком зеркале луна:
Екатерининская зала
Тенями прошлого полна.

Звучит клавир, как дальний шорох,
Мерцают тускло шандалы.
О, бал теней! Печаль во взорах,
И щеки девичьи белы.
Жеманно пары приседают,
Танцуя легкий менуэт,
И в отделеньи пропадают,
И новые скользят им вслед.

А с темных стен глядят портреты:
Старухи с вышивкой в руках,
Кутилы, томные поэты
И дамы в пышных париках.
Окаменелые улыбки
Сменяет лунная игра,
И навевают сумрак зыбкий
Из белых перьев веера...

. . . .

АЛЬБОМНЫЙ СОНЕТ

За нежный поцелуй ты требуешь сонета...
В. Жуковский

Как некогда потребовала Лила
В обмен на нежный поцелуй — сонет,
Так и моя сказала Маша: «Нет!»
И девы той желанье повторила.

Напрасно говорил я ей: «Мой свет,
Капризами меня ты истомила,
Я напишу беспламенно, уныло,
Не то что романтический поэт».

Но спорить как с девицей своенравной?
Изволь влагать пустую болтовню
В сонетный ямб, торжественный и славный.

Кончаю труд. Хоть мало в нем огню,
Недостает и прелести и яда,
Но все ж моя приятная награда!

ВИДЕНИЯ В ЛЕТНЕМ САДУ

Хотя и был ты назван «Летний»,
Но, облетевший и немой,—
Вдвойне ты осенью заметней,
Вдвойне пленяешь разум мой.

Когда кормой разбитой лодки
Ныряет в облаке луна,—
Люблю узор твоей решетки,
Гранита блеск и чугуна.

Вдали продребезжат трамваи,
Автомобили пролетят,
И, постепенно оживая,
Былое посещает сад.

Своей дубинкой суковатой
Стуча, проходит Петр, и вслед
В туманной мгле зеленоватой
С придворными — Елисавет...

Скользят монархи цепью чинной,
Знамена веют и орлы,
И рокот музыки старинной
Распространяется средь мглы.

Оружья отблески... Во взорах
Огни... Гвардейцев кивера...
И, словно отдаленный шорох,
По саду носится «ура»!

Так торжествуют славных тени
Величье нынешних побед.
Но на решетки, на ступени
Ложится серый полусвет...

Полоска утра золотая
Растет и гасит фонари,
И призраки монархов, тая,
Бледнеют в мареве зари.

Загадочен стоит и пышен
Огромный опустелый сад,
И не понять — то шорох слышен
Знамен иль ветки шелестят.

* * *

Опять на площади Дворцовой
Блестит колонна серебром.
На гулкой мостовой торцовой
Морозный иней лег ковром.

Несутся сани за санями,
От лошадей клубится пар,
Под торопливыми шагами
Звенит намерзший тротуар.

Беспечный смех... Живые лица...
Костров веселые огни,—
Прекрасна Невская столица
В такие солнечные дни.

Идешь и полной грудью дышишь,
Спускаешься к Неве на лед
И ветра над собою слышишь
Широкий солнечный полет.

И сердце радостью трепещет,
И жизнь по-новому светла,
А в бледном небе ясно блещет
Адмиралтейская игла.

* * *

Столица спит. Трамваи не звенят,
И пахнет воздух ночью и весною.
Адмиралтейства белый циферблат
На бледном небе кажется луною.

Лишь изредка по гулкой мостовой
Протопают веселые копыта,
И снова тишь, как будто над Невой
Прекрасная столица позабыта;

И навсегда сменилась тишиной
Жизнь буйная и шумная когда-то
Под тусклою недвижною луной
Мерцающего сонно циферблата.

Но отсветы стального багреца
Уже растут, пронзая дым зеленый
Над статуями Зимнего дворца
И стройной Александровской колонной.

Неясный шум, фабричные гудки
Спокойствие сменяют постепенно,
На серых волнах царственной реки
Все розовей серебряная пена.

Смотри — бежит и исчезает мгла
Пред солнечною светлой колесницей,
И снова жизнь, шумна и весела,
Овладевает Невскою столицей.

К ПАМЯТНИКУ

У моста над Невою плавной,
Под электрическим лучом,
Стоит один из стаи славной
С высоко поднятым мечом.

Широкий плащ с плеча спадает —
Его не сбросит ветр сырой,
Живая память увядает,
И забывается герой.

Гудок мотора, звон трамвая...
Но взор поэта ищет звезд.
Передо мной во мгле всплывают
Провалы Альп и Чертов мост.

И ухо слышит клики те же,
Что слышал ты, ведя на бой,
И гений славы лавром свежим
Венчает дряхлый кивер твой!..

ПАВЛОВСК

Французский говор. Блеск эгреток
И колыхание эспри.
На желтый гравий из-за веток
Скользит румяный луч зари.

Несется музыка с вокзала,
Пуччини буйная волна.
Гуляют пары. Всех связала
Сетями осень, как весна.

О, ожиданье на перроне,
Где суета и толкотня!
Ах, можно ль быть еще влюбленней,
Эллен, Вы любите ль меня?

Но лампионы слишком ярки,
И слишком музыка шумна,
Зато в величественном парке
И полумрак, и тишина.

Ведут туманные аллеи
Все дальше, дальше вниз к реке,
Где голубеют мавзолеи
И изваянья вдалеке.

Мечтанья ветер навевает,
Слабеет музыки волна,
Меж веток медленно всплывает
И улыбается луна.

Она всплывает, точно грецкий
Янтарно-розовый орех.
В беседке слышится турецкой
Веселый говор, легкий смех.

Грозят амуры в позах томных,
Светлеет лунная стезя,
И от лучей ее нескромных
Влюбленным спрятаться нельзя.

* * *

Веселый ветер гонит лед,
А ночь весенняя — бледна,
Всю ночь стоять бы напролет
У озаренного окна.

Глядеть на волны и гранит,
И слышать этот смутный гром,
И видеть небо, что сквозит
То синевой, то серебром.

О сердце, бейся волнам в лад,
Тревогой вешнею гори...
Луны серебряный закат
Сменяют отблески зари.

Летят и тают тени птиц
За крепость — в сумрак заревой.
И все светлее тонкий шпиц
Над дымно-розовой Невой.

* * *

Стучат далекие копыта,
Ночные небеса мертвы,
Седого мрамора, сердито
Застыли у подъезда львы.
Луны отвесное сиянье
Играет в окнах тяжело,
И на фронтоне изваянья
Белеют груди, меч, крыло...
Но что за свет блеснул за ставней,
Чей сдавленный пронесся стон?
Огонь мелькнул поочередно
В широких окнах, как свеча.
Вальс оборвался старомодный,
Неизъяснимо прозвучав.
И снова ничего не слышно —
Ночные небеса мертвы.
Покой торжественный и пышный
Хранят изваянные львы.
Но сердце тонет в сладком хладе,
Но бледен серп над головой,
И хочется бежать, не глядя,
По озаренной мостовой.

* * *

Китайские драконы над Невой
Раскрыли пасти в ярости безвредной —
Вы, слышавшие грохот пушек медный
И поражаемых боксеров вой.

Но говорят, что полночью, зимой,
Вы просыпаетесь в миг заповедный.
То чудо узревший — отпрянет, бледный,
И падает с разбитой головой.

А поутру, когда румянцем скупо
Рассвет Неву стальную озарит,
На плитах стынущих не видно трупа,

Лишь кровь на каменных устах горит
Да в хищной лапе с яростью бесцельной
Один из вас сжимает крест нательный.

* * *

Мне тело греет шкура тигровая,
Мне светит нежности звезда.
Я, гимны томные наигрывая,
Пасу мечтательно стада.

Когда Диана станет матовою
И сумрак утренне-глубок,
Мечтою бережно разматываю
Воспоминания клубок.

Иду тогда тропинкой узенькою
К реке, где шепчут тростники,
И, очарован сладкой музыкою,
Плету любовные венки.

И, засыпая, вижу пламенные
Сверканья гаснущей зари...
В пруды, платанами обраменные,
Луна роняет янтари.

И чьи-то губы целомудренные
Меня волнуют слаще роз...
И чьи-то волосы напудренные
Моих касаются волос...

Проснусь — в росе вся шкура тигровая,
Шуршит тростник, мычат стада...
И снова гимны я наигрываю
Тебе, тебе, моя звезда!

РОМАНС

Амур мне играет песни,
Стрелою ранит грудь —
Сегодня я интересней,
Чем когда-нибудь!..

Стыдливые румяна
Зажгла на щеках любовь...
Мне, право, как-то странно
Ее услышать вновь...

Под музыку я танцую
На берегу реки,
В холодные струи
Бросаю свои венки...

Монаха и святотатца,
Я всех теперь обниму,—
Готова отдаться
Все равно кому!

Звучат любовные песни,
Глаза застилает муть...
Сегодня я интересней,
Чем когда-нибудь!..

* * *

«Люблю»,— сказал поэт Темире,
Она ответила: «И я».
Гремя на сладкострунной лире,
«Люблю»,— сказал поэт Темире...
И все они забыли в мире
Под сенью дуба у ручья.
«Люблю»,— сказал поэт Темире...
Она ответила: «И я».

ГАЗЕЛЛЫ

1

Если ты промолвишь «нет» — разлюблю,
Не капризничай, поэт,— разлюблю.

Нынче май, но если ты — убежишь,
Я и розы нежный цвет разлюблю.

Ах, несноснее тебя можно ль быть,—
Слушать просто, как привет: «разлюблю».

Или хочешь полюбить стариком?
Полно, милый, будешь сед — разлюблю.

Надоело мне твердить без конца,
Вместо сладостных бесед, «разлюблю».

На закате лучше ты приходи:
Не услышит лунный свет — «разлюблю».

2

Ах, угадать не в силах я, чего хочу.
От розы, рощи, соловья — чего хочу.

Зачем без радости весну встречает взор,
Вопрос единый затая: чего хочу?

Имею ласковую мать, отец не строг,
И все мне делает семья, чего хочу.

Но, ах, не в силах я избыть тоски своей —
Неумолимы острия «чего хочу».

Забыты мною в цель стрельба, веселый мяч —
Не скажут верные друзья, чего хочу.

...Так я метался, но амур, спаситель мой,
Дала мне знать стрела твоя, чего хочу.

И нынче с милою спеша укрыться в лес,
Уже отлично знаю я, чего хочу.

3

Скакал я на своем коне к тебе, о любовь.
Душа стремилась в сладком сне к тебе, о любовь.

Я слышал смутно лязг мечей и пение стрел,
Летя от осени к весне, к тебе, о любовь.

За Фебом рдяно-золотым я несся вослед,
Он плыл на огненном руне к тебе, о любовь.

И в ночь я не слезал с коня, узды не кидал,
Спеша, доверившись луне, к тебе, о любовь.

Врагами тайно окружен, изранен я был,
Но все стремился к вышине, к тебе, о любовь.

Истекши кровью, я упал на розовый снег...
Лечу, лечу, казалось мне, к тебе, о любовь.

БОЛТОВНЯ ЗАЗЫВАЮЩЕГО В БАЛАГАН

Да, размалевана пестро
Театра нашего афиша:
Гитара, шляпа, болеро,
Девица на летучей мыши.
Повесить надобно повыше,
Не то — зеваки оборвут.
Спешите к нам. Под этой крышей
Любовь, веселье и уют!

Вот я ломака, я Пьеро.
Со мною Арлекин. Он пышет
Страстями, клянчит серебро.
Вот принц, чей плащ узорно вышит,
Вот Коломбина, что не дышит,
Когда любовники уснут.
Паяц — он вздохами колышет
Любовь, веселье и уют!

Пляши, фиглярское перо,
Неситесь в пламенном матчише
Все те, кто хочет жить пестро:
Вакханки, негры, принцы, мыши,—
Порой быстрей, порою тише,
Вчера в Париже, нынче тут...
Всего на этом свете выше
Любовь, веселье и уют!

Посылка

О кот, блуждающий по крыше,
Твои мечты во мне поют!
Кричи за мной, чтоб всякий слышал:
Любовь, веселье и уют!

ФИГЛЯР

Я храбрые марши играю,
Скачу на картонном коне,
И, если я умираю,
Все звонко хлопают мне.

Мои представленья неплохи,
Понравятся, коль поглядишь.
Учены прыгают блохи,
Танцует умная мышь.

А то, если милые гости
Хотят, мы в дальнем углу
Отыщем ржавые гвозди,
Особенную пилу.

Приятно тела восковые
Гвоздем раскаленным колоть:
Трепещут они, как живые,
Нежны, как живая плоть.

Я сердце когда-то измучил,
И стало негодным оно,
А пытки для глупых чучел
Выдумывать — так смешно.

Я детские песни играю,
В карманах ношу леденцы,
И, если я умираю,
Звенят мои бубенцы.

* * *

Прохладно... До-ре-ми-фа-соль
Летит в раскрытое окно.
Какая грусть, какая боль!
А впрочем, это все равно!

Любовь до гроба, вот недуг
Страшнее, чем зубная боль.
Тебе, непостоянный друг,
Тяну я до-ре-ми-фа-соль.

Ты королева, я твой паж,
Все это было, о юдоль!
Ты приходила в мой шалаш
И пела до-ре-ми-фа-соль.

Что делать, если яд в крови,
В мозгу смятенье, слезы — соль,
А ты заткнула уши и
Не слышишь... до-ре-ми-фа-соль.

БРОДЯЧИЕ АКТЕРЫ

Снова солнечное пламя
Льется знойным янтарем.
Нагруженные узлами,
Снова мы подошвы трем.

Придорожная таверна
Уж далеко за спиной.
Небо медленно, но верно
Увеличивает зной.

Ах, бессилен каждый мускул,
В горле — словно острия.
Потемнела, как зулуска,
Берта, спутница моя.

Но теперь уже недолго
Жариться в огне небес:
Встречный ветер пахнет елкой,
Недалеко виден лес.

Вот пришли.— Скорее падай,
Узел мой, с усталых плеч.
Осененному прохладой,
Сладко путнику прилечь.

Распаковывает Берта
Тюк с едою и вином.
Край лилового конверта
Я целую за стволом.

ОТРЫВОК

Я помню своды низкого подвала,
Расчерченные углем и огнем.
Все четверо сходились мы, бывало,
Там посидеть, болтая, за вином.
И зеркало большое отражало
Нас, круглый стол и лампу над столом.

Один все пил, нисколько не пьянея,—
Он был навязчивый и злой нахал.
Другой веселый, а глаза — синее
Волны, что ветерок не колыхал.
Умершего я помню всех яснее —
Он красил губы, кашлял и вздыхал.

Шел разговор о картах или скачках
Обыкновенно. Грубые мечты
О драках, о старушечьих подачках
Высказывал поэт. Разинув рты,
Мы слушали, когда, лицо испачкав
Белилами и краской, пела ты;

Под кастаньеты после танцевала,
Кося и странно поджимая рот.
А из угла насмешливо и вяло
Следил за нами и тобой урод —
Твой муж. Когда меня ты целовала,
Я видел, как рука его берет

Нож со стола... Он, впрочем, был приучен
Тобою ко всему и не дурил.
Шептал порой, но шепот был беззвучен,
И лишь в кольце поблескивал берилл,
Как злобный глаз. Да,—он тебя не мучил
И дерзостей гостям не говорил.

Так ночь последняя пришла. Прекрасна
Особенно была ты. Как кристалл,
Жизнь полумертвецу казалась ясной,
И он, развеселившись, хохотал,
Когда огромный негр в хламиде красной
Пред нами, изумленными, предстал.

О, взмах хлыста! Метнулись морды волчьи.
Я не забуду взора горбуна
Счастливого. Бестрепетная, молча
Упала на колени ты, бледна.
Погасло электричество—и желчью
Все захлестнула желтая луна...

* * *

Над озером тумана
Лиловая гряда,
Среди ветвей каштана
Блестящая звезда.

Стройны Вы, как тростинка,
Люблю, Мария, Вас.
Но падает слезинка
На кофточки атлас.

И ручки вертят зонтик
И комкают платок...
Луна на горизонте
Окрасила восток.

Ужели, о Мария,
Слова мои мертвы?
Проплачу до зари я,
Когда уйдете Вы.

Осталось нам немного
Прогулок под луной,
Так будьте, ради Бога,
Поласковей со мной!

Но дева непреклонна...
И тщетно меж ветвей
Тоскливо и влюбленно
Вздыхает соловей.

Так скрою же страданье
Обманутой души:
— К другому на свиданье,
Неверная, спеши.

ПУТЕШЕСТВУЮЩИЕ ГИМНАСТЫ

Мы — веселые гимнасты,
И бродяги мы притом,
Путешествуем мы часто
С отощавшим животом.

Но, хотя тревожит голод
Не на шутку иногда,—
Всякий весел, всякий молод:
Водка есть у нас всегда.

По дорогам безопасным
Путешествуем втроем,
Деревням и селам разным
Представление даем.

— Заходите! В нашем цирке
Много встретите забав:
Дядя Джек ломает кирки,
Свой показывает нрав.

Рыжекудрая Елена,
Наша общая жена,
Пляшет. Юбка до колена,
Вовсе грудь обнажена.

Я в кольчуге и с рапирой
Нападаю на быка.
Смело гирями жонглируй,
Загорелая рука!

Взваливая их на шею,
Подавляю тяжкий вздох,
Хоть они не тяжелее
Фунтов трех иль четырех.

А потом — сидим до ночи
В деревенском кабаке,
Потому что всякий хочет
Отдышаться налегке.

Завтра — серая повозка
Наша снова заскрипит,
Мул пятнистый — Джека тезка —
Недовольно засопит.

И веселые гимнасты —
Поплетемся мы опять
В деревнях и селах частых
Представления давать.

ПЕСНЯ О ПИРАТЕ ОЛЕ

Кто отплыл ночью в море
С грузом золота и жемчугов
И стоит теперь на якоре
У пустынных берегов?

Это тот, кого несчастье
Помянуть три раза вряд.
Это Оле — властитель моря,
Это Оле — пират.

Царь вселенной рдяно-алый
Зажег тверди и моря.
К отплытью грянули сигналы,
И поднялись якоря.

На высоких мачтах зоркие
Неподкупные дозорные,
Бриг блестит, как золото,
Паруса надулись черные.

Солнце ниже, солнце низится,
Солнце низится усталое;
Опустилось в воду сонную,
И темнеют дали алые.

Налетели ветры,
Затянуло дали тучами...
Буря близится. У берега
Брошен якорь между кручами.

Вихри, вихри засвистали,
Судно — кинули на скалы;
Громы — ужас заглушали,
С треском палуба пылала.

Каждой ночью бриг несется
На огни маячных башен;
На носу стоит сам Оле —
Окровавлен и страшен.

И дозорные скелеты
Качаются на мачтах.
Но лишь в небе встанут зори,
Призрак брига тонет в море.

Посвящается Габриэль

ВЕРЕСК

* * *

Мы скучали зимой, влюблялись весною,
Играли в теннис мы жарким летом...
Теперь летим под медной луною,
И осень правит кабриолетом.

Уже позолота на вялых злаках,
А наша цель далека, близка ли?..
Уже охотники в красных фраках
С веселыми гончими — проскакали...

Стало дышать трудней и слаще...
Скоро, о скоро падешь бездыханным
Под звуки рогов в дубовой чаще
На вереск болотный — днем туманным!

ЛИТОГРАФИЯ

Америки оборванная карта
И глобуса вращающийся круг.
Румяный шкипер спорит без азарта,
Но горячится, не согласен, друг.

И с полюса несется на экватор
Рука и синий выцветший обшлаг,
А солнца луч, летя в иллюминатор,
Скользит на стол, на кресло и на флаг.

Спокойно все. Слышна команда с рубки,
И шкипер хочет вымолвить: «Да брось...»
Но спорит друг. И вспыхивают трубки.
И жалобно скрипит земная ось.

* * *

Растрепанные грозами — тяжелые дубы,
И ветра беспокойного — осенние мольбы,
Над Неманом клокочущим — обрыва желтизна —
И дымная и плоская — октябрьская луна.

Природа обветшалая пустынна и мертва...
Ступаю неуверенно, кружится голова...
Деревья распростертые и тучи при луне —
Лишь тени, отраженные на дряхлом полотне.

Пред тусклою, огромною картиною стою
И мастера старинного ка́к будто узнаю,—
Но властно прорывается в видения и сны
Глухое клокотание разгневанной волны!

* * *

Как я люблю фламандские панно,
Где овощи, и рыбы, и вино,
И дичь богатая на блюдце плоском —
Янтарно-желтым отливает лоском.

И писанный старинной кистью бой —
Люблю. Солдат с блистающей трубой,
Клубы пороховые, мертвых груду
И вздыбленные кони отовсюду!

Но тех красот желанней и милей
Мне купы прибережных тополей,
Снастей узор и розовая пена
Мечтательных закатов Клод Лоррена.

* * *

О, празднество на берегу, в виду искусственного моря,
Где разукрашены пестро причудливые корабли.
Несется лепет мандолин, и волны плещутся, им вторя,
Ракета легкая летит и рассыпается вдали.

Вздыхает рослый арлекин. Задира получает вызов,
Спешат влюбленные к ладье — скользить
в таинственную даль...
О, подражатели Ватто, переодетые в маркизов,
Дворяне русские,— люблю ваш доморощенный
Версаль.

Пусть голубеют веера, вздыхают робкие свирели,
Пусть колыхаются листы под розоватою луной,
И воскресает этот мир, как на поблекшей акварели,—
Запечатлел его поэт и живописец крепостной.

* * *

Пожелтевшие гравюры,
Рамок круглые углы,
И пастушки и амуры
Одинаково милы.

В окна светит вечер алый
Сквозь деревья в серебре,
Золотя инициалы
На прадедовском ковре.

Шелком крытая зеленым
Мебель низкая — тверда,
И часы с Наполеоном —
Все тридцатые года.

«Быть влюбленну, быть влюбленну»,—
Мерно тикают часы.
Ах, зачем Наполеону
Подрисованы усы!

ОТРЫВОК

Июль в начале. Солнце жжет,
Пустые дали золотя.
Семья актерская идет
Дорогой пыльною, кряхтя.
Старуха, комик и Макбет —
Все размышляют про обед.
Любовник первый, зол и горд,
Колотит тростью о ботфорт.

Все праздны... Бедный Джи — лишь ты
Приставлен движимость блюсти,—
А кудри — словно завиты,
И лет не больше двадцати...
Следить так скучно, чтобы мул,
Шагая, вовсе не заснул,
Не отвязался тюк с едой
Или осленок молодой

Не убежал. Пылит жара,
А путь и долог и уныл.
Невольно вспомнишь вечера
Те, что в Марселе проводил,
При свете звезд, в большом порту.
Лелеял смутную мечту
О южных странах. А вдали
Чернели молча корабли.

Напрасно мирный свет луны
Земле советует: «Усни»,—
Уже в таверне зажжены
Гостеприимные огни.
Матросы, персы, всякий люд,
Мигая трубками, идут,
Толкают дверь, плюют на пол
И шумно занимают стол.

Как часто Джи глядел в окно
На этих дерзких забияк,
Что пили темное вино,
И ром, и золотой коньяк.
Как сладко тело била дрожь,
Когда сверкал внезапно нож
И кровь, красна и горяча,
Бежала в драке из плеча.

Все из-за женщин. Как в мечте,
Проклятья, ссоры и ножи!
Но завитые дамы ге
Совсем не волновали Джи.
Когда одна из них, шутя,
Его звала: «Пойдем, дитя...» —
Он грубо руки отводил
И, повернувшись, уходил.

Но, пробужденному, ему
Являлось утром иногда
Воспоминание, как тьму
Вдруг пронизавшая звезда.
Не знал когда, не помнил где,
Но видел взгляд — звезду в воде,
Но до сих пор горячий рот,
Казалось, и томит, и жжет.

Ах, если бы еще хоть раз
Увидеть сон такой опять,
Взглянуть в зрачки огромных глаз,
Одежду легкую измять,—
Но в этой жизни кочевой
Он видит только ужин свой,
Да то, что выкрали осла,
Да пьесу, что сегодня шла.

* * *

М. Н. Бялковскому

Кудрявы липы, небо сине,
Застыли сонно облака.
На урне надпись по-латыни
И два печальных голубка.

Внизу безмолвствует цевница,
А надпись грустная гласит:
«Здесь друга верного гробница»,—
Орфей под этим камнем спит.

Все обвил плющ, на хмель похожий,
Окутал урну темный мох,
Остановись пред ней, прохожий,
Пошли поэту томный вздох.

И после с грацией неспешной,
Как в старину — слезу пролей:
Здесь госпожою безутешной
Поставлен мопсу мавзолей.

* * *

Как хорошо и грустно вспоминать
О Фландрии неприхотливом люде:
Обедают отец и сын, а мать
Картофель подает на плоском блюде.

Зеленая вода блестит в окне,
Желтеет берег с неводом и лодкой.
Хоть солнца нет, но чувствуется мне
Так явственно его румянец кроткий;

Неяркий луч над жизнью трудовой,
Спокойной и заманчиво нехрупкой,
В стране, где — воздух, пахнущий смолой,
И рыбаки не расстаются с трубкой.

* * *

Визжа, ползет тяжелая лебедка...
О берег разбивается волна
Янтарная. И парусная лодка
Закатом медно-красным зажжена.

Вот капитан. За ним плетется сеттер,
Неся в зубах витой испанский хлыст,
И, якоря раскачивая,— ветер
Взметает пыль и сбрасывает лист...

А капитан в бинокль обозревает
Узор снастей, таверну на мысу...
Меж тем луна октябрьская всплывает
И золотит грифона на носу.

* * *

На старом дедовском кисете
Слезинки бисера блестят,
Четыре купидона — в сети
Поймать курильщика хотят.

Но поджимает ноги турок
С преравнодушнейшим лицом,
Ему не до любовных жмурок,
Кольцо пускает за кольцом.

Переверни кисет. Печален
И живописен вместе вид:
Над дряхлой кровлею развалин
Луна туманная глядит.

А у застежки в львиных лапах —
Коран, крутые облака
И слышен выдохшийся запах
И пачули и табака.

* * *

Бросает девочка — котенку
Полуразмотанный клубок,
На золотистую плетенку
Уселся сизый голубок.

Где начинается деревня —
Среди столетних тополей,—
Старофранцузская харчевня
Сияет вывеской своей.

Большая туча тихо тает,
Стоит охотник у ручья —
И вороненок улетает
От непроворного ружья.

А сзади — слышен посвист тонкий
Бича и дальний топот стад,
И от лучей зари — в плетенке
Все розовее виноград.

* * *

Все в жизни мило и просто,
Как в окнах пруд и боскет,
Как этот в халате пестром
Мечтающий поэт.

Рассеянно трубку курит,
Покачиваясь слегка.
Глаза свои он щурит
На янтарные облака.

Уж вечер. Стада пропылили,
Проиграли сбор пастухи.
Что ж, ужинать или
Еще сочинять стихи?..

Он начал: «Любовь — крылата...»
И строчки не дописал.
На пестрой поле халата
Узорный луч — погасал...

* * *

Визжат гудки. Несется ругань с барок —
Уже огни в таверне зажжены.
И, вечера июльского подарок,
Встает в окошке полукруг луны.

Как хорошо на пристани в Марсели
Тебя встречать, румяная луна.
Раздумывать — какие птицы сели
На колокольню, что вдали видна.

Глядеть, как шумно роются колеса
«Септимии», влачащие ее,
Как рослая любовница матроса
Полощет в луже — грубое белье.

Шуршит прибой. Гудки визжат упрямо,
Но все полно — такою стариной,
Как будто палисандровая рама
И дряхлый лист гравюры предо мной.

И кажется — тяжелой дверью хлопнув,
Сэр Джон Ферфакс — войдет сюда сейчас —
Закажет виски — и, ногою топнув,
О странствиях своих начнет рассказ.

* * *

Цитерский голубок и мальчик со свирелью,
На мраморной плите — латинские стихи.
Как нежно тронуты прозрачной акварелью
Дерев раскидистых кудрявые верхи.

Заря шафранная — в бассейне догорая —
Дельфину золотит густую чешую
И в бледных небесах искусственного рая
Фонтана легкую, чуть слышную струю.

* * *

Вот роща и укромная полянка,
Обрыв крутой, где зелень и песок;
Вот в пестром сарафане — поселянка,
Сбирающая клюкву в кузовок.

Глядит из-за ствола охотник-барин,
Виляет пес, убитой птице рад.
От солнца заходящего — янтарен
Ружья тяжеловесного приклад.

Закатный луч заметно увядает,
Шуршат листы, клубятся облака,
И скромно поцелуя ожидает,
Как яблоко румяная, щека.

* * *

Шотландия, туманный берег твой
И пастбища с зеленою травой,
Где тучные покоятся стада,
Так горестно покинуть навсегда!

Ужель на все гляжу в последний раз,
Что там вдали скрывается от глáз,
И холм отца меж ивовых ветвей,
И мирный кров возлюбленной моей...

Прощай, прощай! О, вереск, о, туман...
Тускнеет даль, и ропщет океан,
И наш корабль уносит, как ладью...
Храни Господь Шотландию мою!

* * *

Все образует в жизни круг —
Слиянье уст, пожатье рук.

Закату вслед встает восход,
Роняет осень зрелый плод.

Танцуем легкий танец мы,
При свете ламп — не видим тьмы.

Равно — лужайка иль паркет —
Танцуй, монах, танцуй, поэт.

А ты, амур, стрелами рань —
Везде сердца — куда ни глянь.

И пастухи и колдуны
Стремленью сладкому верны.

Весь мир — влюбленные одни,
Гасите медленно огни...

Пусть образует тайный круг —
Слиянье уст, пожатье рук.

* * *

Уж рыбаки вернулись с ловли
И потускнели валуны,
Лег на соломенные кровли
Розово-серый блеск луны.

Насторожившееся ухо
Слушает медленный прибой:
Плещется море мерно, глухо,
Словно часов старинных бой.

И над тревожными волнами
В воздухе гаснущем, бледна,
За беспокойными ветвями —
Приподнимается луна.

* * *

Как древняя ликующая слава,
Плывут и пламенеют облака,
И ангел с крепости Петра и Павла
Глядит сквозь них — в грядущие века.

Но ясен взор — и неизвестно, что там —
Какие сны, закаты, города —
На смену этим блеклым позолотам —
Какая ночь настанет навсегда!

* * *

Уже сухого снега хлопья
Швыряет ветер с высоты
И, поздней осени холопья,
Мятутся ржавые листы.

Тоски смертельную заразу
Струит поблекшая заря.
Как все переменилось сразу
Железной волей ноября.

Лишь дряхлой мраморной богини
Уста по-прежнему горды,
Хотя давно в ее кувшине
Не слышно пения воды.

Да там, где на террасе гвозди
Хранят обрывки полотна —
Свои исклеванные гроздья
Еще качает бузина.

6 Г. Иванов, т. 1

6 - 789

* * *

Закат золотой. Снега
Залил янтарь.
Мне Гатчина дорога,
Совсем как встарь.

Томительнее тоски
И слаще — нет.
С вокзала слышны свистки,
В окошке — свет.

Обманчивый свет зари
В окне твоем,
Калитку лишь отвори,
И мы — вдвоем.

Все прежнее: парк, вокзал...
А ты — на войне,
Ты только прости сказал,
Улыбнулся мне;

Улыбнулся в последний раз
Под стук колес,
И не было даже слез
У веселых глаз.

* * *

Все дни с другим, все дни не с вами
Смеюсь, вздыхаю, и курю,
И равнодушными словами
О безразличном говорю.

Но в ресторане и в пролетке,
В разнообразных сменах дня
Ваш образ сладостно-нечеткий
Не отступает от меня.

Я не запомнил точных линий,
Но ясный взор и нежный рот,
Но шеи над рубашкой синей
Неизъяснимый поворот,—

Преследуют меня и мучат,
Сжимают обручем виски,
Долготерпенью сердце учат,
Не признававшее тоски.

. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

6*

* * *

Никакого мне не нужно рая,
Никакая не страшна гроза —
Волосы твои перебирая,
Все глядел бы в милые глаза.

Как в источник ясный, над которым
Путник наклоняется страдой,
Видя с облаками и простором
Небо, отраженное водой.

* * *

Оттепель. Похоже,
Точно пришла весна,
Но легкий мороз по коже
Говорит: нет, не она.

Запах фабричной сажи.
И облака легки.
Рождественских елок даже
Не привезли мужики.

И все стоит в «Привале»
Невыкачанной вода...
Вы знаете. Вы бывали.
Неужели никогда?

На западе вьются ленты,
Невы леденеет гладь.
Влюбленные и декаденты
Приходят сюда гулять.

И только нам нет удачи,
И красим губы мы,
И деньги без отдачи
Выпрашиваем взаймы.

* * *

В небе над дымными долами
Вечер растаял давно,
Тихо закатное полымя
Пало на синее дно.

Тусклое золото месяца
Голые ветки кропит.
Сердцу спокойному грезится
Белый, неведомый скит.

Выйдет святая затворница,
Небом укажет пути.
Небо, что светлая горница,
Долго ль его перейти!

* * *

Измучен ночью ядовитой,
Бессонницею и вином,
Стою, дышу перед раскрытым,
В туман светлеющим окном.

И вижу очертанья веток
В лилово-розовом дыму.
И нет вопроса, нет ответа,
Которого я не приму.

Отдавшись нежному безволью,
Слежу за вами — облака,
И легкой головною болью
Томит вчерашняя тоска.

ПЕСНЯ

Осеннее ненастье,
Нерадостный удел!
И счастье и несчастье
Зачем я проглядел.

Теперь мечты бесплодны
И не о чем вздыхать.
Спокойный и холодный,
Я должен отдыхать.

В окне — фигуры ветел,
Обрызганных луной.
Звенит осенний ветер
Минорною струной.

Но я не вспоминаю
Давнишнего, Луна!
Я в рюмку наливаю
Дешевого вина.

* * *

Все бездыханней, все желтей
Пустое небо. Там, у ската,
На бледной коже след когтей
Отпламеневшего заката.

Из урны греческой не бьет
Струя и сумрак не тревожит.
Свирель двухтонная поет
Последний раз в году, быть может.

И ветер с севера, свища,
Летает в парке дик и злостен,
Срывая золото с плаща,
Тобою вышитого, осень.

Взволнован тлением, стою
И, словно музыку глухую,
Я душу смертную мою
Как перед смертным часом — чую.

* * *

О расставаньи на мосту
И о костре в ночном тумане
Вздохнул. А на окне в цвету
Такие яркие герани.

Пылят стада, пастух поет...
Какая ясная погода.
Как быстро осень настает
Уже семнадцатого года.

* * *

Пустынна и длинна моя дорога,
А небо лучезарнее, чем рай,
И яхонтами на подоле Бога
Сквозь дым сияет горизонта край.

И дальше, там, где вестницею ночи
Зажглась шестиугольная звезда,
Глядят на землю голубые очи,
Колышется седая борода.

Но кажется, устав от дел тревожных,
Не слышит старый и спокойный Бог,
Как крылья ласточек неосторожных
Касаются его тяжелых ног.

ПОЛУСОН

Здесь — вялые подушки,
Свеча, стакан с вином.
Окно раскрыто. Мушки
Кружатся за окном,

Еловые верхушки
Качаются во сне.
Печальные лягушки
Вздыхают в тишине.

Они не нарушают
Осенней тишины.
Их стоны не мешают
Сиянию луны

Окутывать верхушки
И падать на кровать,
Измятые подушки
Узором покрывать.

* * *

Поблекшим золотом, холодной синевой
Осенний вечер светит над Невой.
Кидают фонари на волны блеск неяркий,
И зыблются слегка у набережной барки.

Угрюмый лодочник, оставь свое весло!
Мне хочется, чтоб нас течение несло.
Отдаться сладостно вполне душою смутной
Заката блеклого гармонии минутной.

И волны плещутся о темные борта.
Слилась с действительностью легкая мечта.
Шум города затих. Тоски распались узы.
И чувствует душа прикосновенье Музы.

ПЕТР В ГОЛЛАНДИИ

Анне Ахматовой

На грубой синеве крутые облака
И парусных снастей под ними лес узорный.
Стучит плетеный хлыст о кожу башмака,
Прищурен глаз. Другой — прижат к трубе подзорной.

Немного поотдаль веселый ротозей,
Спешащий куафер, гуляющая дама.
А книзу, у воды — таверна «Трех Друзей»,
Где стекла пестрые с гербами Амстердама.

Знакомы так и верфь, и кубок костяной
В руках сановника, принесшего напиток,
Что нужно ли читать по небу развитой
Меж труб и гениев колеблющийся свиток?

* * *

На лейпцигской раскрашенной гравюре
Седой пастух у дремлющего стада,
Ряд облаков — следы недавней бури —
И ветхая церковная ограда.

Направо — триумфальные ворота,
Где зелень разрушения повисла;
Какая-то Луиза иль Шарлота
Чрез них несет, склонившись, коромысла.

А дальше — пахота. Волы и плуги.
Под котелком потрескивает хворост.
Взрезая дерн зеленый и упругий,
Проводит пахарь ряд глубоких борозд.

И путник, шествуя дорогой голой,
На фоне дали серо-синеватой,
Чернеет шляпою широкополой,
Размахивает палкой суковатой.

ВАЗА С ФРУКТАМИ

Тяжелый виноград, и яблоки, и сливы —
Их очертания отчетливо нежны —
Все оттушеваны старательно отливы,
Все жилки тонкие под кожицей видны.

Над грушами лежит разрезанная дыня,
Гранаты смуглые сгрудились перед ней;
Огромный ананас кичливо посредине
Венчает вазу всю короною своей.

Ту вазу, вьющимся украшенную хмелем,
Ваяла эллина живая простота:
Лишь у подножия к пастушеским свирелям
Прижаты мальчиков спокойные уста.

* * *

Я кривляюсь вечером на эстраде:
Пьеро двойник.
А после, ночью, в растрепанной тетради
Веду дневник.

Записываю, кем мне подарок обещан,
Обещан только,
Сколько получил я за день затрещин
И улыбок сколько.

Что было на ужин: горох, картофель,—
Все ем, что ни дашь!
...А иногда и Пьереты профиль
Чертит карандаш.

На шее — мушка, подбородок поднят,
Длинная ресница.
Рисую и думаю: а вдруг сегодня
Она приснится!

Запись окончу любовными мольбами,
Вздохнув не раз.
Утром проснусь с пересохшими губами,
Круги у глаз.

ОСЕННИЙ ФАНТОМ

Отчаянною злостью
Перекося лицо,
Размахивая тростью,
Он вышел на крыльцо.

Он торопливо вышел,
Не застегнув пальто,
Никто его не слышал,
Не провожал никто.

Разбрызгивая лужи,
По улицам шагал,
Одно другого хуже
Проклятья посылал.

Жестоко оскорбленный,
Тебе отрады нет:
Осмеянный влюбленный,
Непризнанный поэт!

А мог бы стать счастливым,
Веселым болтуном,
Бесчинствовать за пивом,
Не зная об ином.

Осенний ветер — грубым
Полетом тучи рвал,
По водосточным трубам
Холодный дождь бежал,—

И мчался он, со злостью
Намокший ус крутя,—
Расщепленною тростью
По лужам колотя.

УЛИЧНЫЙ ПОДРОСТОК

Ломающийся голос. Синева
У глаз и над губою рыжеватый
Пушок. Вот — он, обычный завсегдатай
Всех закоулков. Пыльная ль трава

Столичные бульвары украшает,
Иль мутным льдом затянута Нева —
Все в той же куртке он, и голова
В знакомой шляпе. Холод не смущает

И вялая жара не истомит
Его. Под воротами постоит,
Поклянчит милостыню. С цветами

Пристанет дерзко к проходящей даме.
То наглый, то трусливый примет вид,
Но финский нож за голенищем скрыт,

И с каждым годом темный взор упрямей.

* * *

Письмо в конверте с красной прокладкой
Меня пронзило печалью сладкой.

Я снова вижу ваш взор величавый,
Ленивый голос, волос кручавый.

Залита солнцем большая мансарда,
Ваш лик в сияньи, как лик Леонардо.

И том Платона развернут пред вами,
И воздух полон золотыми словами.

Всегда ношу я боль ожиданья,
Всегда томлюсь, ожидая свиданья.

И вот теперь целую украдкой
Письмо в конверте с красной прокладкой.

АКТЕРКА

Дул влажный ветер весенний,
Тускнела закатная синева,
А я на открытой сцене
Говорила прощальные слова.

И потом печально, как надо,
Косу я свою расплела,
Приняла безвредного яду,
Вздохнула — и умерла.

Хлопали зрители негромко,
Занавес с шуршаньем упал.
Я встала. На сцене — потемки;
Звякнул опрокинутый бокал.

Подымаюсь по лестнице скрипучей,
Дома ждет за чаем мать.
Боже мой, как смешно, как скучно
Для ужина — воскресать.

* * *

Черемухи цветы в спокойный пруд летят.
Заря деревья озлащает.
Но этот розовый сияющий закат
Мне ничего не обещает.

Напрасно ворковать слетаешь, голубок,
Сюда на тихий подоконник.
Я скоро лягу спать, и будет сон глубок,
И утром — не раскрою сонник.

* * *

Горлица пела, а я не слушал.
Я видел звезды на синем шелку
И полумесяц. А сердце все глуше,
Все реже стучало, забывая тоску.

Порою казалось, что милым, скучным
Дням одинаковым потерян счет
И жизнь моя — ручейком незвучным
По желтой глине в лесу течет.

Порою слышал дальние трубы,
И странный голос меня волновал,
И видел взор горящий, и губы
И руки узкие целовал...

Ты понимаешь — тогда я бредил,
Теперь мой разум по-прежнему мой.
Я вижу солнце в закатной меди,
Пустое небо и песок золотой.

II. Из Т. Готье, Ш. Бодлера и А. Самэна

БЕГСТВО

Кадиджа
На небосклоне отсияла
Луна, и нет других огней.
Ночь одолжит нам покрывало.
Бежим скорей.

Ахмет
Скажи, ты не боишься гнева,
Которым брат зажжется твой,
Отчаянья отца, о, дева,
Отца с седою бородой?

Кадиджа
О, что опасность, что проклятье,
Что ненависть душе моей.
Она живет в твоем объятье,
Бежим скорей.

Ахмет
Мне страшно; сердце задрожало.
Я словно чую впереди
Их леденящего кинжала
Стальное острие в груди.

Кадиджа
Рожден в пустыне и испытан
Мой конь; по бороздам полей,
Соперник ветра, полетит он.
Бежим скорей.

Ахмет

В пустыне непреодолимой
Нет зонтика, чтоб бросить тень,
Палатки нет... Огнем палимый
Как проведу я знойный день...

Кадиджа

Мои ресницы — тень; палатка
Раскроется моих кудрей,
И мы задремлем ночью сладко.
Бежим скорей.

Ахмет

А вдруг мираж дорогу скроет
И мы заблудимся — увы.
Кто нас накормит, кто напоит?
Наутро будем мы мертвы.

Кадиджа

Как сладко душу счастье ранит.
Пей слезы радости моей,
Когда воды у нас не станет.
Бежим скорей.

ЖЕЛАНЬЯ

Когда б волшебница с крылами, как сафир,
Под свежей зеленью Аркады,
Белей жемчужины, которой горд Офир,
Явилась предо мной сквозь веющий зефир
Там, где запенились каскады,

Явилась, говоря: — что хочешь — сундуки
Алмазов или радость славы.
Искусства волшебства владенья велики,
Я превращать могу — движением руки —
В сокровища — сухие травы.

Я отвечал бы ей: хочу, чтобы с волной
Небес играло отраженье
И солнца в высоте кристально-голубой,
Чтоб ни туман, ни пар не заслонил собой
Его чудесное движенье.

Хочу, чтоб подо мной арабский конь сейчас
Легко запрядал с видом гордым,
С роскошной гривою, с горячим блеском глаз,
Что, словно Гиппогриф, перелетает в час
Из Абиссинии к фиордам.

Пурпуровый киоск хочу, где минарет
В колонках белых, золоченый,
Что разукрашен весь, мозаикой одет,
Где в стекла пестрые проскальзывает свет,
Голубоватый и смягченный.

Когда настанет зной, пусть движущийся лес
Повсюду следует за мною,
Прохладных сикомор и яворов навес
Огромным веером закроет свод небес
Своею шелковой листвою.

И яхту легкую желал бы я иметь,
Пусть вьется парус белоснежный.
Хотел бы наблюдать, как делит волны медь,
Вдоль тихих островов качаться и лететь,
Когда сияют звезды нежно.

Хочу и засыпать, и просыпаться я
Под итальянский гул веселый,
И слышать целый день, как, грусти не тая,
Печальный Вендемир, журчит твоя струя
Иль арфы плачутся Эола.

Алмею я хочу, что, обнажая стан,
Свой легкий шарф из кашемира
Кружит над головой, окутанной в тюрбан...
Хочу гарем и слуг, как царственный султан,
Чей лен — Багдад или Пальмира.

Хочу индийский меч — пусть рукоять его
Пленяет глаз резьбою дивной.
Но сердце девушки желаннее всего,
Что отвечало бы на пламень моего
Любовью юной и наивной.

ВАТТО

Я шел к Парижу сельскою дорогой
Вдоль колеи в вечерней тишине
С единственною спутницей — тревогой,
Что молча подавала руку мне.

Простор полей суровый, помертвелый
В гармонии с таким же небом был.
В пустой степи ничто не зеленело,—
Лишь парк один, что счет годам забыл.

Глядел я долго за решетку. Это
Был парк во вкусе старого Ватто,
Дорожки по линейке и боскеты,
Где все причесано и завито.

Грусть уносил я и очарованье.
Когда глядел я, понял, что к мечтам
Был близок я всего существованья,
Что счастие мое сокрыто там.

ВЫКУП

Чтоб выкуп за себя отдать,
Имеет человек два поля:
Он должен разумом и волей
Их целину перепахать.

Чтоб колос вырастили недра,
Ничтожнейший цветок пророс,
Потоком ежедневных слез
Ты должен поливать их щедро.

Искусство и любовь — поля.
Когда настанет день ужасный
Суда, где жалобы напрасны,
Чтоб милостивым был судья,

Ты должен показать чудесных
Цветов, колосьев золотых
Амбар, снискав красою их
Заступничество сил небесных.

ВОДОМЕТ

Моя возлюбленная, нежный
Твой взор устал, сомкни его
И позы не меняй небрежной,
Хранящей страсти торжество.
В саду фонтан лепечет пенный,
Не умолкая ни на миг,
Баюкая восторг блаженный,
Что в этот вечер я постиг.

Как сноп, что расцветает
Гирляндой роз,
Где Феба пролетает
Быстрей стрекоз,
Широко ниспадает
Волною слез.

Так, молнией любви палима,
Уносится душа твоя,
Отважна и неудержима,
В благоуханные края,
Потом струится утомленно,
Как меланхолии волна,
И вот с незримого уклона
Мне в сердце падает она.

Как сноп, что расцветает
Гирляндой роз,
Где Феба пролетает
Быстрей стрекоз,
Широко ниспадает
Волною слез.

7 Г. Иванов, т. 1
7—789

Ты кажешься такой прекрасной,
Так сладостно с тобой вдвоем
Следить за жалобой напрасной
Струи, летящей в водоем.
Деревьев дрожь пред гулом пенным.
Блистательная ночь. Луна.
В вас, точно в зеркале блаженном,
Моя любовь отражена.

Как сноп, что расцветает
Гирляндой роз,
Где Феба пролетает
Быстрей стрекоз,
Широко ниспадает
Волною слез.

СИРЕНЫ

Летела песнь сирен... Вдали по островкам
Мелодия любви вздыхала непрерывно,
Желания текли в гармонии призывной,
И слезы на глаза просились морякам...

Летела песнь сирен... Томились паруса
У скал, плененные душистыми цветами,
И в душу кормчего, отражены волнами,
Все звезды, всю лазурь вливали небеса.

Летела песнь сирен... Их голос из воды,
Рыдая с ветерком, звучал нежней и глуше,
И в пеньи был восторг, где разбивались души,
Как после дня жары созрелые плоды.

Таинственная даль миражами цвела,
Туда летел корабль, окутанный мечтами,
И там — видение — над бледными песками
Качались в золоте влюбленные тела.

В растущем сумраке, прозрачны и легки,
Скользили под луной так медленно сирены
И, гибкие, среди голубоватой пены
Серебряных хвостов свивали завитки.

Их плоти перламутр жемчужной белизной
Блистал и отливал под всплесками эмали,
Нагие груди их округло подымали
Коралловых сосков приманку над волной.

Нагие руки их манили на волнах,
Средь белокурых кос цвела трава морская,—
Они, откинув стан и ноздри раздувая,
Дарили синеву там, в звездных их глазах.

Слабела музыка... Над позолотой струй
Лилось томление неведомого рая!
Мечтали моряки, дрожа и замирая,
Что бархатный сомкнул их очи поцелуй.

И до конца людей, отмеченных судьбой,
Тот хор сопровождал божественно-мятежный,
На снеговых руках баюкаемый нежно,
Сияющий корабль скрывался под водой.

Благоухала ночь... Вдали по островкам
Мелодия любви вздыхала непрерывно,
И море, рокоча торжественно и дивно,
Свой саван голубой раскрыло морякам.

Летела песнь сирен... Но времена прошли
Счастливой гибели в волнах чужого края,
Когда в руках сирен, блаженно умирая,
Сплетенные с мечтой тонули корабли.

ВСТУПЛЕНИЕ К КНИГЕ «В САДУ ИНФАНТЫ»

Моя душа живет, инфанты горделивей,
И отражается в пустынных зеркалах
Ее изгнания неторопливый шаг,
Галерой брошенной в неведомом заливе.

У ног ее лежат в дремотности своей
С печальным взором две шотландские борзые,
Порой бегут в леса мечтанья голубые
И символических преследуют зверей.

Ее любимый паж по имени «Когда-то»
Читает ей стихи вполголоса — она,—
С тюльпанами в руках, безмолвствует, бледна,
Их тайны слушая в сиянии заката.

Кругом раскинут парк — очарованье глаз —
Бассейны, мраморы, перила, балюстрады,
И, строгая, она в дыхании прохлады
Переживает сны, сокрытые для нас.

Покорно нежная, не зная удивленья,
Бороться с роковым оставив навсегда,
Она чувствительна, как к ветерку вода,
К порывам жалости, хотя не без презренья.

Покорно нежная, она грустна порой,
Припомнив, как во сне, добычу океана,
Армаду, жертву лжи и ⟨...⟩ обмана,
И целый мир надежд, уснувших под водой.

Тяжелым вечером пурпурным, полным страсти,
Ван Дейка облики, надменны и бледны —
И в черном бархате взирая со стены,
И видом царственным ей говорят о власти.

Вдруг траур озарят старинные мечты,
В виденьях, где тоска теряет власть отравы,
Пронзает душу ей — луч солнца или славы —
Рубины гордости вновь светом залиты.

Улыбкой грустною смирится лихорадка.
И чуждая толпе — опять верна тоске,
Шум жизни слушает, как море, вдалеке,
И снова на губах глубокая загадка.

Никто не возмутит покой ее очей.
Где Мертвых Городов спит Дух под покрывалом,
Бесшумно, по пустым она проходит залам
На зов таинственный в безмолвии ночей.

Фонтаны там внизу лепечут все ленивей.
С тюльпанами она садится у окна,
В старинных зеркалах едва отражена.
Галерой брошенной в неведомом заливе,
Моя душа живет, инфанты горделивей.

САДЫ

I

* * *

Где ты, Селим, и где твоя Заира,
Стихи Гафиза, лютня и луна!
Жестокий луч полуденного мира
Оставил сердцу только имена.

И песнь моя, тревогою палима,
Не знает, где предел ее тоски,
Где ветер над гробницею Селима
Восточных роз роняет лепестки.

1916

* * *

Эоловой арфой вздыхает печаль,
И звезд восковых зажигаются свечи,
И дальний закат, как персидская шаль,
Которой окутаны нежные плечи.

Зачем без умолку свистят соловьи,
Зачем расцветают и тают закаты,
Зачем драгоценные плечи твои
Как жемчуг нежны и как небо покаты!

1921

* * *

Не о любви прошу, не о весне пою,
Но только ты одна послушай песнь мою.

И разве мог бы я, о, посуди сама,
Взглянуть на этот снег и не сойти с ума.

Обыкновенный день, обыкновенный сад,
Но почему кругом колокола звонят,

И соловьи поют, и на снегу цветы,
О, почему, ответь, или не знаешь ты?

И разве мог бы я, о, посуди сама,
В твои глаза взглянуть и не сойти с ума!

Не говорю — поверь, не говорю — услышь,
Но знаю: ты сейчас на тот же снег глядишь

И за плечом твоим глядит любовь моя
На этот снежный рай, в котором ты и я.

1921

* * *

Легкий месяц блеснет над крестами забытых могил,
Томный луч озарит разрушенья унылую груду,
Теплый ветер вздохнет: я травою и облаком был,
Человеческим сердцем я тоже когда-нибудь буду.

Ты влюблен, ты грустишь, ты томишься
в прохладе ночной,
Ты подругу зовешь, ты Ириной ее называешь,
Но настанет пора, и над нашей кудрявой землей
Пролетишь, и не взглянешь, и этих полей не узнаешь.

А любовь — семицветною радугой станет она,
Кукованьем кукушки, иль камнем, иль веткою дуба,
И другие влюбленные будут стоять у окна,
И другие, в мучительной нежности, сблизятся губы.

Теплый ветер вздыхает, деревья шумят у ручья,
Легкий серп отражается в зеркале северной ночи,
И, как ризу Господню, целую я платья края,
И колени, и губы, и эти зеленые очи.

1921

* * *

Оттого и томит меня шорох травы,
Что трава пожелтеет и роза увянет,
Что твое драгоценное тело, увы,
Полевыми цветами и глиною станет.

Даже память исчезнет о нас... И тогда
Оживет под искусными пальцами глина
И впервые плеснет ключевая вода
В золотое, широкое горло кувшина.

И другую, быть может, обнимет другой
На закате, в условленный час, у колодца...
И с плеча обнаженного прах дорогой
Соскользнет и, звеня, на куски разобьется.

1921

* * *

Глядит печаль огромными глазами
На золото осенних тополей,
На первый треугольник журавлей
И взмахивает слабыми крылами.

Малиновка моя, не улетай,
Зачем тебе Алжир, зачем Китай!

1920

* * *

Тяжелые дубы, и камни, и вода,
Старинных мастеров суровые виденья,
Вы мной владеете. Дарите мне всегда
Все те же смутные, глухие наслажденья!

Я, словно в сумерки, из дома выхожу,
И ветер, злобствуя, срывает плащ дорожный,
И пена бьет в лицо. Но зорко я гляжу
На море, на закат, багровый и тревожный.

О, ветер старины, я слышу голос твой,
Взволнован, как матрос, надеждою и болью,
И знаю, там, в огне, над зыбью роковой,
Трепещут паруса, пропитанные солью.

1916

* * *

Я разлюбил взыскующую землю,
Ручьев не слышу и ветрам не внемлю,

А если любы сердцу моему,
Так те шелка, что продают в Крыму.

В них розаны, и ягоды, и зори
Сквозь пленное просвечивают море.

Вот, легкие, летят из рук, шурша,
И пленная внимает им душа.

И, прелестью воздушною томима,
Всего чужда, всего стремится мимо.

Ты знаешь, тот, кто просто пел и жил,
Благословенный отдых заслужил.

Настанет ночь. Как шелк падет на горы.
Померкнут краски, и ослепнут взоры.

1917

* * *

И пение пастушеского рога
Медлительно растаяло вдали,
И сумрак веет. Только край земли
Румянит туч закатная тревога.

По листьям золотым — моя дорога.
О сердце, увяданию внемли!
Пурпурные, плывите корабли
И меркните у синего порога!

Нет, смерть меня не ждет и жизнь проста
И радостна. Но терпкая отрава
Осенняя в душе перевита

С тобою, радость, и с тобою, слава!
И сладостней закатной нет дорог,
Когда трубит и умолкает рог.

1916

* * *

Прекрасная охотница Диана
Опять вступает на осенний путь,
И тускло светятся края колчана,
Рука и алебастровая грудь.

А воды бездыханны, как пустыня...
Я сяду на скамейку близ Невы,
И в сердце мне печальная богиня
Пошлет стрелу с блестящей тетивы.

1920

* * *

Уже бежит полночная прохлада,
И первый луч затрепетал в листах,
И месяца погасшая лампада
Дымится, пропадая в облаках.

Рассветный час! Урочный час разлуки!
Шумит влюбленных приютивший дуб,
Последний раз соединились руки,
Последний поцелуй холодных губ.

Да! Хороши классические зори,
Когда валы на мрамор ступеней
Бросает взволновавшееся море
И чайки вьются и дышать вольней!

Но я люблю лучи иной Авроры,
Которой рассветать не суждено:
Туманный луч, позолотивший горы,
И дальний вид в широкое окно.

Дымится роща, от дождя сырая,
На кровле мельницы кричит петух,
И, жалобно на дудочке играя,
Бредет за стадом маленький пастух.

* * *

Кровь бежит по томным жилам
И дарит отраду нам,
Сладкую покорность милым,
Вечно новым именам.

Прихотью любви, пустыней
Станет плодородный край,
И взойдет в песках павлиний
Золотой и синий рай.

В чаще нежности дремучей
Путник ощупью идет,
Лютнею она певучей,
Лебедем его зовет.

— Ты желанна! Ты желанен!
— Я влюблен! Я влюблена!
Как Гафиз-магометанин,
Пьяны, пьяны без вина!

И поем о смуглой коже,
Розе в шелковой косе,
Об очах, что непохожи
На другие очи все.

1921

* * *

В середине сентября погода
Переменчива и холодна.
Небо точно занавес. Природа
Театральной нежности полна.

Каждый камень, каждая былинка,
Что раскачивается едва,
Словно персонажи Метерлинка,
Произносят странные слова:

— Я люблю, люблю и умираю...
— Погляди — душа, как воск, как дым...
— Скоро, скоро к голубому раю
Лебедями полетим...

Осенью, когда туманны взоры,
Путаница в мыслях, в сердце лед,
Сладко слушать эти разговоры,
Глядя в празелень стоячих вод.

С чуть заметным головокруженьем
Проходить по желтому ковру,
Зажигать рассеянным движеньем
Папиросу на ветру.

1921

* * *

Наконец-то повеяла мне золотая свобода,
Воздух, полный осеннего солнца, и ветра, и меда.

Шелестят вековые деревья пустынного сада,
И звенят колокольчики мимо идущего стада,

И молочный туман проползает по низкой долине...
Этот вечер, однажды, уже пламенел в Палестине.

Так же небо синело и травы дымились сырые
В час, когда пробиралась с младенцем в Египет Мария.

Смуглый детский румянец, и ослик, и кисть
винограда...
Колокольчики мимо идущего звякали стада.

И на солнце, что гасло, павлиньи уборы отбросив,
Любовался, глаза прикрывая ладонью, Иосиф.

1920

ПЕСНЯ МЕДОРЫ

Я в глубине души храню страданье,
На нем для всех положена печать.
Порой забьется сердце в ожиданьи,
Тебе в ответ, чтоб снова замолчать.

В нем светит похоронная лампада
Недвижным, вечным, роковым огнем,
И даже мрак таинственного ада
Незримый пламень не погасит в нем.

Я об одном молю: моей могилы
Не позабудь смиренную юдоль.
О, если ты меня не вспомнишь, милый,
Не станет сил нести такую боль.

Услышь меня! Мне ничего не надо,
Лишь бедный прах слезою услади,
И в этом мне единая награда
За всю любовь, пылавшую в груди.

* * *

Зеленою кровью дубов и могильной травы
Когда-нибудь станет любовников томная кровь,
И ветер, что им шелестел при разлуке «увы»,
«Увы» прошумит над другими влюбленными вновь.

Прекрасное тело смешается с горстью песка,
И слезы в родной океан возвратятся назад...
«Моя дорогая, над нами бегут облака,
Звезда зеленеет и черные ветки шумят...»

1921

* * *

Холодеет осеннее солнце и листвой пожелтевшей
играет,
Колыхаются легкие ветки в синеватом вечернем
дыму —
Это молодость наша уходит, это наша любовь
умирает,
Улыбаясь прекрасному миру и не веря уже ничему.

1921

* * *

Вновь губы произносят: «Муза»,
И жалобно поет волна,
И, улыбаясь, как медуза,
Показывается луна.

Чу! Легкое бряцанье меди!
И гром из озаренных туч,
Персей слетает к Андромеде,
Сжимая в длани лунный луч.

И паруса вздыхают шумно
Над гребнями пустынных вод;
Она, прекрасна и безумна,
То проклинает, то зовет.

«Дева! Я пронзил чудовище
Сталью верного клинка!
Я принес тебе сокровище,
Ожерелья и шелка!»

Вся роскошь Азии напрасна
Для Андромеды, о Персей!
Она — безумна и прекрасна —
Не слышит жалобы твоей.

Что жемчуг ей, что голос музы,
Что страсть, и волны, и закат,
Когда в ее глаза глядят
Ужасные зрачки медузы!

1920

* * *

Вечерний небосклон. С младенчества нам мило
Мгновенье — на границе тьмы.
На ветки в пламени, на бледное светило
Не можем наглядеться мы.

Как будто в этот миг в тускнеющем эфире
Играет отблеск золотой
Всех человеческих надежд, которых в мире
Зовут несбыточной мечтой.

1921

* * *

Из облака, из пены розоватой,
Зеленой кровью чуть оживлены,
Сады неведомого халифата
Виднеются в сиянии луны.

Там меланхолия, весна, прохлада
И ускользающее серебро.
Все очертания такого сада —
Как будто страусовое перо.

Там очарованная одалиска
Играет жемчугом издалека,
И в башню к узнику скользит записка
Из клюва розового голубка.

Я слышу слабое благоуханье
Прозрачных зарослей и цветников,
И легкой музыки летит дыханье
Ко мне, таинственное, с облаков.

Но это длится только миг единый:
Вот снова комнатная тишина,
В горошину кисейные гардины
И Каменноостровская луна.

1920

* * *

Как вымысел восточного поэта,
Мой вышитый ковер, затейлив ты,
Там листья малахитового цвета,
Малиновые, крупные цветы.

От полураспустившихся пионов
Прелестный отвела лица овал
Султанша смуглая. Галактионов
Такой Зарему нам нарисовал.

Но это не фонтан Бахчисарая,
Он потаеннее и слаще бьет,
И лебедь романтизма, умирая,
Раскинув крылья, перед ним поет.

* * *

Дитя гармонии — александрийский стих,
Ты медь и золото для бедных губ моих.

Я истощил свой дар в желаньях бесполезных.
Шум жизни для меня, как звон цепей железных...

Где счастие? Увы — где прошлогодний снег...
Но я еще люблю стихов широкий бег,

Вдруг озаряемый, как солнцем с небосклона,
Печальной музыкой четвертого пэона.

1921

* * *

Облако свернулось клубком,
Катится блаженный клубок,
И за голубым голубком
Розовый летит голубок.

Это угасает эфир...
Ты не позабудешь, дитя,
В солнечный сияющий мир
Крылья, что простерты, летя?

— Именем любовь назови!
— Именем назвать не могу.
Имя моей вечной любви
Тает на февральском снегу.

* * *

Я вспомнил о тебе, моя могила,
Отчизна отдаленная моя,
Где рокот волн, где ива осенила
Глухую тень скалистого ручья.

Закат над рощею. Проходит стадо
Сквозь легкую тумана пелену...
Мой милый друг, мне ничего не надо,
Вот я добрел сюда и отдохну.

Старинный друг! Кто плачет, кто мечтает,
А я стою у этого ручья
И вижу, как горит и отцветает
Закатным облаком любовь моя...

* * *

Деревья, паруса и облака,
Цветы и радуги, моря и птицы —
Все это веселит твой взор, пока
Устало не опустятся ресницы.

Но пестрая завеса упадет,
И, только петь и вспоминать умея,
Душа опустошенная пойдет
По следу безутешного Орфея.

Иль будет навсегда осуждена,
Как пленница, Зюлейка иль Зарема,
Вздыхать у потаенного окна
В благоуханной роскоши гарема.

1920

8 Г. Иванов, т. 1
8—789

* * *

Погляди, бледно-синее небо покрыто звездами,
А холодное солнце еще над водою горит,
И большая дорога на запад ведет облаками
В золотые, как поздняя осень, Сады Гесперид.

Дорогая моя, проходя по пустынной дороге,
Мы, усталые, сядем на камень и сладко вздохнем,
Наши волосы спутает ветер душистый, и ноги
Предзакатное солнце омоет прохладным огнем.

Будут волны шуметь, на песчаную мель набегая,
Разнесется вдали заунывная песнь рыбака...
Это все оттого, что тебя я люблю, дорогая,
Больше теплого ветра, и волн, и морского песка.

В этом томном, глухом и торжественном мире—
нас двое,
Больше нет никого. Больше нет ничего. Погляди:
Потемневшее солнце трепещет, как сердце живое,
Как живое влюбленное сердце, что бьется в груди.

* * *

Теперь я знаю — все воображенье,
Моя Шотландия, моя тоска.
Соленых волн свободное движенье,
Рога охот и песня рыбака.

Осенний ветер беспокойно трубит,
И в берег бьет холодная вода.
Изгнанник ваш, он никого не любит,
Он не вернется больше никогда.

И покидая этот мир печальный,
Что так ревниво в памяти берег,
Не обернется он, услышав дальний —
«Прости, поэт» — пророкотавший рог.

1920

8*

* * *

Меня влечет обратно в край Гафиза,
Там зеленел моей Гюльнары взор
И полночи сафировая риза
Над нами раскрывалась, как шатер.

И память обездоленная ищет
Везде, везде приметы тех полей,
Где лютня брошенная ждет, где свищет
Над вечной розой вечный соловей.

1921

* * *

Я слушал музыку, не понимая,
Как ветер слушают или волну,
И видел желтоватую луну,
Что медлила, свой рог приподымая.

И вспомнил сумеречную страну,
Где кличет ворон — арфе отвечая,
И тень мечтательная и немая
Порою приближается к окну

И смотрит на закат. А вечер длинный
Лишь начался. Как холодно! Темно
Горит камин. Невесел дом старинный,

А все, что было, было так давно!
Лишь музыкой, невнятною для слуха,
Воспоминания рокочут глухо.

1920

* * *

В меланхолические вечера,
Когда прозрачны краски увяданья,
Как разрисованные веера,
Вы раскрываетесь, воспоминанья.

Деревья жалобно шумят, луна
Напоминает бледный диск камеи,
И эхо повторяет имена
Елизаветы или Саломеи.

И снова землю я люблю за то,
Что так торжественны лучи заката,
Что легкой кистью Антуан Ватто
Коснулся сердца моего когда-то.

1920

* * *

Луны осенней таял полукруг
Под облачной серебряною льдиной.
«Прощай, мой друг, не позабудь, мой друг,
Удары волн и голос лебединый!»

Уже летит с пленительного юга
Попутный ветр, волнуя паруса.
— Я не забуду, о, прощай, подруга,
Вот эти волны, эти голоса.

Так жалобы звучали сквозь туман,
Так двое уст слились для поцелуя
На диком берегу. И океан
Шумел: «Пора»,—разлуку торжествуя.

1920

* * *

Мы зябнем от осеннего тумана
И в комнату скрываемся свою,
И в тишине внимаем бытию,
Как рокоту глухого океана.

То бледное светило Оссиана
Сопровождает нас в пустом краю,
И видим мы, склоненные к ручью,
Полуденные розы Туркестана.

Да, холодно, и дров недостает,
И жалкая луна в окно глядится,
Кусты качаются, и дождь идет,

А сердце все не хочет убедиться,
Что никогда не плыть на волю нам
По голубым эмалевым волнам.

* * *

Мгновенный звон стекла, холодный плеск воды,
Дрожит рука, стакан сжимая,
А в голубом окне колышутся сады
И занавеска кружевная.

О муза! Гофмана я развернул вчера
И зачитался до рассвета.
Ты близко веяла, крылатая сестра
Румяных булочниц поэта.

А наступивший день на облако похож,
И легкое ветвей движенье
Напоминает вновь, что есть желанья дрожь
И счастья головокруженье.

Но ветер, шелестя, перевернул листы,
И, словно колдовства угроза,
Забвенный дар любви давно минувшей, ты
Мелькнула, высохшая роза.

* * *

От сумрачного вдохновенья
Так сладко выйти на простор,
Увидеть море в отдаленьи,
Деревья и вершины гор.

Солоноватый ветер дышит,
Зеленоватый серп встает,
Насторожившись, ухо слышит
Согласный хор земли и вод.

Сейчас по голубой пустыне,
Поэт, для одного тебя,
Промчится отрок на дельфине,
В рожок серебряный трубя.

И тихо, выступив из тени,
Плащом пурпуровым повит,
Гость неба встанет на колени
И сонный мир благословит.

1921

ПЕТЕРГОФ

Опять заря! Осенний ветер влажен,
И над землею, за день не согретой,
Вздыхает дуб, который был посажен
Императрицею Елизаветой.

Как холодно! На горизонте дынном
Трепещет диск тускнеющим сияньем...
О, если бы застыть в саду пустынном
Фонтаном, деревом иль изваяньем!

Не быть влюбленным и не быть поэтом
И, смутно грезя мучившим когда-то,
Прекрасным рисоваться силуэтом
На зареве осеннего заката...

1920

II

* * *

Нищие слепцы и калеки
Переходят горы и реки,
Распевают песни про Алексия,
А кругом широкая Россия.

Солнце подымается над Москвою,
Солнце садится за Волгой,
Над татарской Казанью месяц
Словно пленной турчанкой вышит.

И летят исправничьи тройки,
День и ночь грохочут заводы,
Из Сибири доходят вести,
Что Второе Пришествие близко.

Кто гадает, кто верит, кто не верит,
Солнце всходит и заходит...
Вот осилим страдное лето,
Ясной осенью видно будет.

1917

* * *

Не райская разноцветная птичка
Прилетела на кленовую ветку
Поклевать зерна золотого,
А заря веселая ударяла
В разноцветные стекла светлицы.
В той светлице постель стоит несмята,
Не горит икона перед Спасом,
Держит муж ременную плетку,
А жена молодая плачет.

* * *

После летнего дождя
Зелена кругом трава,

Зелен ясень, зелен клен,
Желтый с белым весел дом.

Окна красны от зари,
Ты в окошко посмотри:

За некрашеным столом
Там Алешенька сидит,

Словно яблочко щека,
Зубы точно жемчуга,

Кудри — светлые шелка,
И глядит на облака.

Что, Алеша, ты сидишь,
Лучше в поле выходи.

А Алеша говорит:
«Никуда я не пойду.

Пусть из Тулы привезут
Мне со скрипом сапоги.

Как надену сапоги,
На веселый выйду луг,

Под зеленый стану клен,
Пусть подивится народ».

* * *

Еще молитву повторяют губы,
А ум уже считает барыши.
Закутавшись в енотовые шубы,
Торговый люд по улицам спешит.

Дымят костры по всей столице царской,
Визжат засовы,и замки гремят,
И вот рассыпан на заре январской
Рог изобилия, фруктовый ряд.

Блеск дыни, винограда совершенство,
Румянец яблок, ананасов спесь!..
За выручкой сидит его степенство,
Как Саваоф, распоряжаясь здесь.

Читает «Земщину». Вприкуску с блюдца
Пьет чай, закусывая калачом,
И солнечные зайчики смеются
На чайнике, как небо, голубом.

А дома, на пуховиках, сырая,
Наряженная в шелк, хозяйка ждет
И, нитку жемчуга перебирая,
Вздохнет, зевнет да перекрестит рот.

* * *

В Кузнецовской пестрой чашке
С позолочеными краями,
Видно, сахару не жалко —
Чай сладок и горяч.

Но и пить-то неохота,
И натоплено-то слишком,
И перина пуховая
Хоть мягка, а не мила.

Лень подвинуть локоть белый,
Занавеску лень откинуть,
Сквозь высокие герани
На Сенную поглядеть.

На Сенной мороз и солнце,
Снег скрипит под сапогами,
Громко голуби воркуют
На морозной мостовой.

Да веселый, да румяный,
Озорной и чернобровый
На Демидов переулок
Не вернется никогда!

* * *

Есть в литографиях старинных мастеров
Неизъяснимое, но явное дыханье,
Напев суровых волн и шорохи дубов,
И разноцветных птиц на ветках колыханье.

Ты в лупу светлую внимательно смотри
На шпаги и плащи у старомодных франтов,
На пристань, где луна роняет янтари
И стрелки серебрит готических курантов.

Созданья легкие искусства и ума,
Труд англичанина, и немца, и француза!
С желтеющих листов глядит на нас сама
Беспечной старины улыбчивая муза.

1916

* * *

Опять белила, сепия и сажа,
И трубы гениев гремят в упор.
Опять архитектурного пейзажа
Стесненный раскрывается простор!

Горбатый мост прорезали лебедки,
Павлиний веер распустил закат,
И легкие, как парусные лодки,
Над куполами облака летят.

На плоские ступени отблеск лунный
Отбросил зарево. И, присмирев,
На черном цоколе свой шар чугунный
Тяжелой лапою сжимает лев.

* * *

Моя любовь, она все та же
И не изменит никогда
Вам, старомодные пейзажи,
Деревья, камни и вода.

О, бледно-розовая пена
Над зыбкой зеленью струи!
Матросы гаваней Лоррена,
Вы собутыльники мои.

Как хорошо блуждать, мечтая,
Когда над пристанью со дна
Встает янтарно-золотая
Меланхоличная луна.

У моря сложенные бревна,
Огни таверны воровской.
И я дышу свободно, словно
Соленым ветром и тоской.

А вдалеке чернеют снасти,
Блестит зеленая звезда...
Мое единственное счастье —
Деревья, камни и вода!

* * *

Когда скучна развернутая книга
И, обездоленные, мы мечтаем,
Кружки кармина, кубики индиго
Становятся затейливым Китаем.

На глянцевитой плоскости фарфора,
Дыша духами и шурша шелками,
Встает пятиугольная Аврора
Над буколическими островками.

И журавли, на север улетая,
Кричат над плоскогорьем цвета дыни,
Что знали о поэзии Китая
Лишь в Мейссене, в эпоху Марколини.

* * *

Я не пойду искать изменчивой судьбы
В краю, где страусы, и змеи, и лианы,
Я сел бы в третий класс, и я поехал бы
Через Финляндию в те северные страны.

Там в ледяном лесу удары топора,
Олени быстрые и медленные птицы,
В снежки на площади веселая игра,
И старой ратуши цветные черепицы.

Там путник, постучав в гостеприимный дом,
Увидит круглый стол в вечернем полусвете.
Окончен день с его заботой и трудом,
Раскрыта Библия, и присмирели дети...

Вот я мечтаю так, сейчас, на Рождестве
Здесь тоже холодно. Снег поле устилает.
И, как в Норвегии, в холодной синеве
Далекая звезда трепещет и пылает.

* * *

Мне все мерещится тревога и закат,
И ветер осени над площадью Дворцовой;
Одет холодной мглой Адмиралтейский сад,
И шины шелестят по мостовой торцовой.

Я буду так стоять, и ты сойдешь ко мне
С лиловых облаков, надежда и услада!
Но медлишь ты, и вот я обречен луне,
Тоске и улицам пустого Петрограда.

И трость моя стучит по звонкой мостовой,
Где ветер в лица бьет и раздувает полы...
Заката красный дым. Сирены долгий вой.
А завтра новый день — безумный и веселый.

1917

* * *

На западе желтели облака,
Легки, как на гравюре запыленной,
И отблеск серый на воде зеленой
От каждого ложился челнока.

Еще не глохнул улиц водопад,
Еще шумел Адмиралтейский тополь,
Но видел я, о влажный бог наяд,
Как невод твой охватывал Петрополь.

Сходила ночь, блаженна и легка,
И сумрак розовый сгущался в синий,
И мне казалось, надпись по-латыни
Сейчас украсит эти облака.

ДЖОН ВУДЛЕЙ

Турецкая повесть

1

Право, полдень слишком жарок,
Слишком ровен плеск воды.
Надоели плоских барок
Разноцветные ряды.

Все, что здесь доступно взору —
Море, пристань, толкотня,
Пять бродяг, вступивших в ссору,—
Черт возьми, не для меня!

Что скучней — ходить без дела,
Без любви и без вина.
Розалинда охладела.
Генриэтта неверна.

Нет приезжих иностранцев,
Невоспитанных южан,
Завитых венецианцев,
Равнодушных парижан.

И в таверне, вечерами,
Горячась, входя в азарт,
Я проворными руками
Не разбрасываю карт.

Иль прошла на свете мода
На веселье и вино,
Ах, крапленая колода!
Ах, зеленое сукно!

2

Что, синьор, нахмурил брови?
Горе? Вылечим сейчас!
Наша барка наготове,
Поджидает только вас.

Джон глядит: пред ним, в халате,
Негр, одетый, как раджа.
«Госпожа прекрасно платит,
Пылко любит госпожа.

Будь влюбленным и стыдливым,
Нежно страстным до зари,
Даже морю и оливам
Ни о чем не говори,

И всегда в карманах будут
Звякать деньги, дребезжа,
И тебя не позабудут
Ни Аллах, ни госпожа.

Лишь заря окрасит тополь,
Наш корабль отчалит вновь,
Поплывем в Константинополь,
Где довольство и любовь.

Если будешь нем и страстен,
Будешь славой окружен!»
И промолвил: «Я согласен»,—
Зажигая трубку, Джон.

3

Зобеида, Зобеида,
Томен жар в твоей крови,
Чья смертельнее обида,
Чем обманутой любви.

Ты с шербетом сладким тянешь
Ядовитую тоску,
Розой срезанною вянешь
На пуху и на шелку.

Ах, жестокий, ах, неверный,
Позабывший честь и сан,
Где ты нынче, лицемерный,
Обольстительный Гассан,

Где корабль твой проплывает,
Волны пенные деля,
Чье блаженство укрывает
Неизвестная земля?

«Я ли страстью не палима,
Я ли слову не верна?» —
«Госпожа! — Пред ней Селима
Низко согнута спина.—
Госпожа, исполнен строгий
Вами отданный приказ,
Ожидает на пороге
Джон Вудлей — увидеть вас».

4

Нынче Джон, дитя тумана,
Краснощекий малый Джи,
Носит имя Сулеймана,
Кафешенка госпожи.

Взоры гордые мерцают,
И движенья горячи,
Возле пояса брящают
Золоченые ключи.

Сладкой лестью, звонким златом
Жизнь привольная полна.
...Лишь порой перед закатом
Над Босфором тишина.

Ах, о радости чудесной,
Сердце, сердце, не моли,
Вот из Генуи прелестной
Прибывают корабли.

Прибывают, проплывают,
Уплывают снова вдаль.
И душой овладевает
Одинокая печаль.

Безнадежная тревога
О потерянной навек
Жизни, что из дланей Бога
Получает человек.

1916

РОЗЫ

* * *

Над закатами и розами —
Остальное все равно —
Над торжественными звездами
Наше счастье зажжено.

Счастье мучить или мучиться,
Ревновать и забывать.
Счастье нам от Бога данное,
Счастье наше долгожданное,
И другому не бывать.

Все другое — только музыка,
Отраженье, колдовство —
Или синее, холодное,
Бесконечное, бесплодное
Мировое торжество.

* * *

Глядя на огонь или дремля
В опьяненьи полусонном —
Слышишь, как летит земля
С бесконечным, легким звоном.

Слышишь, как растет трава,
Как жаз-банд гремит в Париже —
И мутнеющая голова
Опускается все ниже.

Так и надо. Голову на грудь
Под блаженный шорох моря или сада.
Так и надо — навсегда уснуть,
Больше ничего не надо.

* * *

Синий вечер, тихий ветер
И (целуя руки эти)
В небе, розовом до края,—
Догорая, умирая...

В небе, розовом до муки,
Плыли птицы или звезды,
И (целуя эти руки)
Было рано или поздно —

В небе, розовом до края,
Тихо кануть в сумрак томный,
Ничего, как жизнь, не зная,
Ничего, как смерть, не помня.

1930

* * *

Душа черства. И с каждым днем черствей.
— Я гибну. Дай мне руку. Нет ответа.
Еще я вслушиваюсь в шум ветвей,
Еще люблю игру теней и света...

Да, я еще живу. Но что мне в том,
Когда я больше не имею власти
Соединить в создании одном
Прекрасного разрозненные части.

* * *

Не было измены. Только тишина.
Вечная любовь, вечная весна.

Только колыханье синеватых бус,
Только поцелуя солоноватый вкус.

И шумело только о любви моей
Голубое море, словно соловей.

Глубокое море у этих детских ног,
И не было измены — видит Бог.

Только грусть и нежность, нежность вся
до дна,
Вечная любовь, вечная весна!

9*

* * *

Напрасно пролита кровь,
И грусть, и верность напрасна —
Мой ангел, моя любовь,
И все-таки жизнь прекрасна.

Деревья легко шумят,
И чайки кружат над нами,
Огромный морской закат
Бросает косое пламя...

* * *

Перед тем, как умереть,
Надо же глаза закрыть.
Перед тем, как замолчать,
Надо же поговорить.

Звезды разбивают лед,
Призраки встают со дна —
Слишком быстро настает
Слишком нежная весна.

И касаясь торжества,
Превращаясь в торжество,
Рассыпаются слова
И не значат ничего.

1930

* * *

Я слышу — история и человечество,
Я слышу — изгнание или отечество.

Я в книгах читаю — добро, лицемерие,
Надежда, отчаянье, вера, неверие.

И вижу огромное, страшное, нежное,
Насквозь ледяное, навек безнадежное.

И вижу беспамятство или мучение,
Где все, навсегда потеряло значение.

И вижу,— вне времени и расстояния,—
Над бедной землей неземное сияние.

1930

* * *

Теплый ветер веет с юга,
Умирает человек.
Это вьюга, это вьюга,
Это вьюга крутит снег.

«Пожалей меня. подруга,
Так ужасно умирать!»
Только ветер веет с юга,
Да и слов не разобрать.

— Тот блажен, кто умирает,
Тот блажен, кто обречен,
В миг, когда он все теряет,
Все приобретает он.

«Пожалей меня, подруга!»
И уже ни капли сил.
Теплый ветер веет с юга,
С белых ка̀мней и могил.
Заметает быстро вьюга
Все, что в мире ты любил.

1930

* * *

Балтийское море дымилось
И словно рвалось на закат,
Балтийское солнце садилось
За синий и дальний Кронштадт.

И так широко освещало
Тревожное море в дыму,
Как будто еще обещало
Какое-то счастье ему.

* * *

Черная кровь из открытых жил —
И ангел, как птица, крылья сложил...

Это было на слабом, весеннем льду
В девятьсот двадцатом году.

Дай мне руку, иначе я упаду —
Так скользко на этом льду.

Над широкой Невой догорал закат.
Цепенели дворцы, чернели мосты —

Это было тысячу лет назад,
Так давно, что забыла ты.

* * *

Как в Грецию Байрон, о, без сожаленья,
Сквозь звезды, и розы, и тьму,
На голос бессмысленно-сладкого пенья...
— И ты не поможешь ему.

Сквозь звезды, которые снятся влюбленным,
И небо, где нет ничего,
В холодную полночь — платком надушенным...
— И ты не удержишь его.

На голос бессмысленно-сладкого пенья,
Как Байрон за бледным огнем,
Сквозь полночь и розы, о, без сожаленья...
— И ты позабудешь о нем.

* * *

Это только синий ладан,
Это только сон во сне,
Звезды над пустынным садом,
Розы на твоем окне.

Это то, что в мире этом
Называется весной,
Тишиной, прохладным светом
Над прохладной глубиной.

Взмахи черных весел шире,
Чище сумрак голубой...
Это то, что в этом мире
Называется судьбой.

1930

* * *

В сумраке счастья неверного
Смутно горит торжество.
Нет ничего достоверного
В синем сияньи его.
В пропасти холода нежного
Нет ничего неизбежного,
Вечного нет ничего.

Сердце твое опечалили
Небо, весна и вода.

Легкие тучи растаяли,
Легкая встала звезда.

Легкие лодки отчалили
В синюю даль навсегда.

1930

* * *

В комнате твоей
Слышен шум ветвей,
И глядит туда
Белая звезда.
Плачет соловей
За твоим окном,
И светло, как днем,
В комнате твоей.

Только тишина,
Только синий лед,
И навеки дна
Не достанет лот.
Самый зоркий глаз
Не увидит дна,
Самый чуткий слух
Не услышит час —
Где летит судьба,
Тишина, весна
Одного из двух,
Одного из нас.

1930

* * *

Увяданьем еле тронут
Мир печальный и прекрасный,
Паруса плывут и тонут,
Голоса зовут и гаснут.

Как звезда — фонарь качает.
Без следа — в туман разлуки.
Навсегда? — не отвечает,
Лишь протягивает руки —

Ближе к снегу, к белой пене,
Ближе к звездам, ближе к дому...

...И растут ночные тени,
И скользят ночные тени
По лицу уже чужому.

1930

* * *

Прислушайся к дальнему пенью
Эоловой арфы нежней —
То море широкою тенью
Ложится у серых камней.

И голос летит из тумана:
— Я все потерял и забыл,
Печальная дочь океана,
Зачем я тебя полюбил.

* * *

Начало небо меняться,
Медленно месяц проплыл,
Словно быстрее подняться
У него не было сил.

И розоватые звезды
На розоватой дали
Сквозь холодеющий воздух
Ярче блеснуть не могли.

И погасить их не смела,
И не могла им помочь,
Только тревожно шумела
Черными ветками ночь.

* * *

Когда-нибудь и где-нибудь.
Не все ль равно?
Но розы упадут на грудь,
Звезда блеснет в окно
Когда-нибудь...

Летит зеленая звезда
Сквозь тишину.
Летит зеленая звезда,
Как ласточка к окну —
В счастливый дом.

И чье-то сердце навсегда
Остановилось в нем.

* * *

Злой и грустной полоской рассвета,
Угольком в догоревшей золе,
Журавлем перелетным на этой
Злой и грустной земле...

Даже больше — кому это надо —
Просиять сквозь холодную тьму...
И деревья пустынного сада
Широко шелестят: «Никому».

* * *

Закроешь глаза на мгновенье
И вместе с прохладой вдохнешь
Какое-то дальнее пенье,
Какую-то смутную дрожь.

И нет ни России, ни мира,
И нет ни любви, ни обид —
По синему царству эфира
Свободное сердце летит.

* * *

Хорошо, что нет Царя.
Хорошо, что нет России.
Хорошо, что Бога нет.

Только желтая заря,
Только звезды ледяные,
Только миллионы лет.

Хорошо — что никого,
Хорошо — что ничего,
Так черно и так мертво,
Что мертвее быть не может
И чернее не бывать,

Что никто нам не поможет
И не надо помогать.

1930

* * *

В тринадцатом году, еще не понимая,
Что будет с нами, что нас ждет,—
Шампанского бокалы подымая,
Мы весело встречали — Новый Год.

Как мы состарились! Проходят годы,
Проходят годы — их не замечаем мы...
Но этот воздух смерти и свободы,
И розы, и вино, и счастье той зимы
Никто не позабыл, о, я уверен...

Должно быть, сквозь свинцовый мрак,
На мир, что навсегда потерян,
Глаза умерших смотрят так.

* * *

Россия, Россия «рабоче-крестьянская» —
И как не отчаяться! —
Едва началось твое счастье цыганское
И вот уж кончается.

Деревни голодные, степи бесплодные...
И лед твой не тронется —
Едва поднялось твое солнце холодное
И вот уже клонится.

1930

* * *

Холодно бродить по свету,
Холодней лежать в гробу.
Помни это, помни это,
Не кляни свою судьбу.

Ты еше читаешь Блока,
Ты еще глядишь в окно,
Ты еще не знаешь срока —
Все неясно, все жестоко,
Все навек обречено.

И конечно, жизнь прекрасна,
И конечно, смерть страшна,
Отвратительна, ужасна,
Но всему одна цена.

Помни это, помни это
— Каплю жизни, каплю света...

«Донна Анна! Нет ответа.
Анна, Анна! Тишина».

1930

* * *

По улицам рассеянно мы бродим,
На женщин смотрим и в кафе сидим,
Но настоящих слов мы не находим,
А приблизительных мы больше не хотим.

И что же делать? В Петербург вернуться?
Влюбиться? Или Опера̀ взорвать?
Иль просто — лечь в холодную кровать,
Закрыть глаза и больше не проснуться...

* * *

Для чего, как на двери небесного рая,
Нам на это прекрасное небо смотреть,
Каждый миг умирая и вновь воскресая
Для того, чтобы вновь умереть.

Для чего этот легкий торжественный воздух
Голубой средиземной зимы
Обещает, что где-то — быть может,
на звездах —
Будем счастливы мы.

Утомительный день утомительно прожит,
Голова тяжела, и над ней
Розовеет закат — о, последний, быть может.—
Все нежней, и нежней, и нежней...

* * *

Страсть? А если нет и страсти?
Власть? А если нет и власти
Даже над самим собой?

Что же делать мне с тобой?

Только не гляди на звезды,
Не грусти и не влюбляйся,
Не читай стихов певучих
И за счастье не цепляйся —

Счастья нет, мой бедный друг.

Счастье выпало из рук,
Камнем в море утонуло,
Рыбкой золотой плеснуло,
Льдинкой уплыло на юг.

Счастья нет, и мы не дети.
Вот и надо выбирать —
Или жить, как все на свете,
Или умирать.

1930

* * *

Как грустно и все же как хочется жить,
А в воздухе пахнет весной.
И вновь мы готовы за счастье платить
Какою угодно ценой.

И люди кричат, экипажи летят,
Сверкает огнями Конкорд —
И розовый, нежный, парижский закат
Широкою тенью простерт.

* * *

Так тихо гаснул этот день. Едва
Блеснула медью чешуя канала,
Сухая, пожелтевшая листва
Предсмертным шорохом затрепетала.

Мы плыли в узкой лодке по волнам,
Нам было грустно, как всегда влюбленным,
И этот бледно-синий вечер нам
Казался существом одушевленным.

Как будто говорил он: я не жду
Ни счастия, ни солнечного света —
На этот бедный лоб немного льду,
Немного жалости на сердце это.

* * *

Грустно, друг. Все слаще, все нежнее
Ветер с моря. Слабый звездный свет.
Грустно, друг. И тем еще грустнее,
Что надежды больше нет.

Это уж не романтизм. Какая
Там Шотландия! Взгляни: горит
Между черных лип звезда большая
И о смерти говорит.

Пахнет розами. Спокойной ночи.
Ветер с моря, руки на груди.
И в последний раз в пустые очи
Звезд бессмертных — погляди.

* * *

Не спится мне. Зажечь свечу?
Да только спичек нет.
Весь мир молчит, и я молчу,
Гляжу на лунный свет.

И думаю: как много глаз
В такой же тишине,
В такой же тихий, ясный час
Устремлено к луне.

Как скучно ей, должно быть, плыть
Над головой у нас,
Чужие окна серебрить
И видеть столько глаз.

Сто лет вперед, сто лет назад,
А в мире все одно —
Собаки лают, да глядят
Мечтатели в окно.

* * *

Январский день. На берегу Невы
Несется ветер, разрушеньем веяя.
Где Олечка Судейкина, увы,
Ахматова, Паллада, Саломея?
Все, кто блистал в тринадцатом году —
Лишь призраки на петербургском льду.

Вновь соловьи засвищут в тополях,
И на закате, в Павловске иль Царском,
Пройдет другая дама в соболях,
Другой влюбленный в ментике гусарском...

* * *

Как лед наше бедное счастье растает,
Растает как лед, словно камень утонет,
Держи, если можешь,— оно улетает,
Оно улетит, и никто не догонит.

* * *

Синеватое облако
(Холодок у виска)
Синеватое облако
И еще облака...

И старинная яблоня
(Может быть, подождать?)
Простодушная яблоня
Зацветает опять.

Все какое-то русское —
(Улыбнись и нажми!)
Это облако узкое,
Словно лодка с детьми,

И особенно синяя
(С первым боем часов...)
Безнадежная линия
Бесконечных лесов.

* * *

В глубине, на самом дне сознанья,
Как на дне колодца — самом дне —
Отблеск нестерпимого сиянья
Пролетает иногда во мне.

Боже! И глаза я закрываю
От невыносимого огня.
Падаю в него...
и понимаю,
Что глядят соседи по трамваю
Странными глазами на меня.

* * *

Утро было как утро. Нам было довольно приятно.
Чашки черного кофе были лилово-черны,
Скатерть ярко-бела, и на скатерти рюмки и пятна.

Утро было как утро. Конечно, мы были пьяны.
Англичане с соседнего столика что-то мычали —
Что-то о испытаньях великой союзной страны.

Кто-то сел за рояль и запел, и кого-то качали...
Утро было как утро — розы дождливой весны
Плыли в широком окне, ледяном океане печали.

* * *

Медленно и неуверенно
Месяц встает над землей.
Черные ветки качаются,
Пахнет весной и травой.

И отражается в озере,
И холодеет на дне
Небо, слегка декадентское,
В бледно-зеленом огне.

Все в этом мире по-прежнему.
Месяц встает, как вставал,
Пушкин именье закладывал
Или жену ревновал.

И ничего не исправила,
Не помогла ничему,
Смутная, чудная музыка,
Слышная только ему.

* * *

От синих звезд, которым дела нет
До глаз, на них глядящих с упованьем,
От вечных звезд — ложится синий свет
Над сумрачным земным существованьем.

И сердце беспокоится. И в нем —
О, никому на свете незаметный —
Вдруг чудным загорается огнем
Навстречу звездному лучу — ответный.

И надо всем мне в мире дорогим
Он холодно скользит к границе мира,
Чтобы скреститься там с лучом другим,
Как золотая тонкая рапира.

* * *

Даль грустна, ясна, холодна, темна,
Холодна, ясна, грустна.

Эта грусть, которая звезд полна,
Эта грусть и есть весна.

Голубеет лес, чернеет мост,
Вечер тих и полон звезд.

И кому страшна о смерти весть,
Та, что в этой нежности есть?

И кому нужна та, что так нежна,
Что нежнее всего — весна?

* * *

Все розы, которые в мире цвели,
И все соловьи, и все журавли,

И в черном гробу восковая рука,
И все паруса, и все облака,

И все корабли, и все имена,
И эта, забытая Богом, страна!

Так черные ангелы медленно падали в мрак,
Так черною тенью Титаник клонился ко дну,
Так сердце твое оборвется когда-нибудь — так
Сквозь розы и ночь, снега и весну...

ОТПЛЫТИЕ
НА ОСТРОВ ЦИТЕРУ

* * *

О, высок, весна, высок твой синий терем,
Твой душистый клевер полевой.
О, далек твой путь за звездами на север,
Снежный ветер, белый веер твой.

Вьется голубок. Надежда улетает.
Катится клубок... О, как земля мала.
О, глубок твой снег, и никогда не тает.
Слишком мало на земле тепла.

* * *

Это месяц плывет по эфиру,
Это лодка скользит по волнам,
Это жизнь приближается к миру,
Это смерть улыбается нам.
Обрывается лодка с причала
И уносит, уносит ее...
Это детство и счастье сначала,
Это детство и счастье твое.

Да,— и то что зовется любовью,
Да,— и то что надеждой звалось,
Да,— и то что дымящейся кровью
На сияющий снег пролилось.
...Ветки сосен — они шелестели:
«Милый друг, погоди, погоди...»
Это призрак стоит у постели
И цветы прижимает к груди.

Приближается звездная вечность,
Рассыпается пылью гранит,
Бесконечность, одна бесконечность
В леденеющем мире звенит.
Это музыка миру прощает
То, что жизнь никогда не простит.
Это музыка путь освещает,
Где погибшее счастье летит.

* * *

Россия счастие. Россия свет.
А, может быть, России вовсе нет.

И над Невой закат не догорал,
И Пушкин на снегу не умирал,

И нет ни Петербурга, ни Кремля —
Одни снега, снега, поля, поля...

Снега, снега, снега... А ночь долга,
И не растают никогда снега.

Снега, снега, снега... А ночь темна,
И никогда не кончится она.

Россия тишина. Россия прах.
А, может быть, Россия — только страх.

Веревка, пуля, ледяная тьма
И музыка, сводящая с ума.

Веревка, пуля, каторжный рассвет
Над тем, чему названья в мире нет.

* * *

Только всего — простодушный напев,
Только всего — умирающий звук,
Только свеча, нагорев, догорев...
Только. И падает скрипка из рук.

Падает песня в предвечную тьму,
Падает мертвая скрипка за ней...

И, неподвластна уже никому,
В тысячу раз тяжелей и нежней,
Слаще и горестней в тысячу раз,
Тысячью звезд, что на небе горит,
Тысячью слез из растерянных глаз —

Чудное эхо ее повторит.

* * *

Слово за словом, строка за строкой —
Все о тебе ослабевшей рукой.

Розы и жалобы — все о тебе.
Полночь. Сиянье. Покорность судьбе.

Полночь. Сиянье. Ты в мире одна.
Ты тишина, ты заря, ты весна.

И холодна ты, как вечный покой...
Слово за словом, строка за строкой,

Капля за каплей — кровь и вода —
В синюю вечность твою навсегда.

* * *

Музыка мне больше не нужна.
Музыка мне больше не слышна.

Пусть себе, как черная стена,
К звездам подымается она,

Пусть себе, как черная волна,
Глухо рассыпается она.

Ничего не может изменить,
И не может ничему помочь,

То, что только плачет, и звенит,
И туманит, и уходит в ночь...

* * *

Звезды синеют. Деревья качаются.
Вечер как вечер. Зима как зима.
Все прощено. Ничего не прощается.
Музыка. Тьма.

Все мы герои и все мы изменники,
Всем, одинаково, верим словам.
Что ж, дорогие мои современники,
Весело вам?

* * *

Ни светлым именем богов,
Ни темным именем природы!
...Еще у этих берегов
Шумят деревья, плещут воды...

Мир оплывает, как свеча,
И пламя пальцы обжигает.
Бессмертной музыкой звуча,
Он ширится и погибает.
И тьма — уже не тьма, а свет.
И да — уже не да, а нет.

...И не восстанут из гробов
И не вернут былой свободы —
Ни светлым именем богов,
Ни темным именем природы!

Она прекрасна, эта мгла.
Она похожа на сиянье.
Добра и зла, добра и зла
В ней неразрывное слиянье.
Добра и зла, добра и зла
Смысл, раскаленный добела.

* * *

Только звезды. Только синий воздух,
Синий, вечный, ледяной.
Синий, грозный, сине-звездный
Над тобой и надо мной.

Тише, тише. За полярным кругом
Спят, не разнимая рук,
С верным другом, с неразлучным другом,
С мертвым другом — мертвый друг.

Им спокойно вместе, им блаженно рядом...
Тише, тише. Не дыши.
Это только звезды над пустынным садом,
Только синий свет твоей души.

* * *

Сиянье. В двенадцать часов по ночам,
Из гроба.
Все — темные розы по детским плечам.
И нежность, и злоба.

И верность. О, верность верна!
Шампанское взоры туманит...
И музыка. Только она
Одна не обманет.

О, все это шорох ночных голосов,
О, все это было когда-то —
Над синими далями русских лесов
В торжественной грусти заката...
Сиянье. Сиянье. Двенадцать часов.
Расплата.

* * *

Замело тебя, счастье, снегами,
Унесло на столетья назад,
Затоптало тебя сапогами
Отступающих в вечность солдат.

Только в сумраке Нового Года
Белой музыки бьется крыло:
— Я надежда, я жизнь, я свобода,
Но снегами меня замело.

* * *

О, душа моя, могло ли быть иначе!
Разве ты ждала, что жизнь тебя простит?
Это только в сказках: Золушка заплачет,
Добрый лес зашелестит...

Все-таки, душа, не будь неблагодарной,
Все-таки не плачь...
                    Над темным миром зла
Высоко сиял венец звезды полярной,
И жестокой, чистой, грозной, лучезарной
Смерть твоя была.

* * *

Так иль этак. Так иль этак.
Все равно. Все решено
Колыханьем черных веток
Сквозь морозное окно.

Годы долгие решалась,
А задача так проста.
Нежность под ноги бросалась,
Суетилась суета.

Все равно. Качнулись ветки
Снежным ветром по судьбе.
Слезы, медленны и едки,
Льются сами по себе.

Но тому, кто тихо плачет,
Молча стоя у окна,
Ничего уже не значит,
Что задача решена.

* * *

Только темная роза качнется,
Лепестки осыпая на грудь.
Только сонная вечность проснется
Для того, чтобы снова уснуть.

Паруса уплывают на север,
Поезда улетают на юг,
Через звезды, и пальмы, и клевер,
Через горе и счастье, мой друг.

Все равно — не протягивай руки,
Все равно — ничего не спасти.
Только синие волны разлуки,
Только синее слово «прости».

И рассеется дым паровоза,
И плеснет, исчезая, весло...
Только вечность, как темная роза,
В мировое осыпется зло.

* * *

Я тебя не вспоминаю,
Для чего мне вспоминать?
Это только то, что знаю,
Только то, что можно знать.

Край земли. Полоска дыма
Тянет в небо, не спеша.
Одинока, нелюдима
Вьется ласточкой душа.

Край земли. За синим краем
Вечности пустая гладь.
То, чего мы не узнаем,
То, чего не надо знать.

Если я скажу, что знаю,
Ты поверишь. Я солгу.
Я тебя не вспоминаю,
Не хочу и не могу.

Но люблю тебя, как прежде,
Может быть, еще нежней,
Бессердечней, безнадежней
В пустоте, в тумане дней.

* * *

Над розовым морем вставала луна,
Во льду зеленела бутылка вина,

И томно кружились влюбленные пары
Под жалобный рокот гавайской гитары.

— Послушай. О, как это было давно,
Такое же море и то же вино.

Мне кажется, будто и музыка та же...
Послушай, послушай,— мне кажется даже...

— Нет, вы ошибаетесь, друг дорогой.
Мы жили тогда на планете другой,

И слишком устали, и слишком мы стары
Для этого вальса и этой гитары.

* * *

Это звон бубенцов издалека,
Это тройки широкий разбег,
Это черная музыка Блока
На сияющий падает снег.

...За пределами жизни и мира,
В пропастях ледяного эфира
Все равно не расстанусь с тобой!

И Россия, как белая лира,
Над засыпанной снегом судьбой.

* * *

В шуме ветра, в детском плаче,
В тишине, в словах прощанья
«А могло бы быть иначе»
Слышу я, как обещанье.

Одевает в саван нежный
Всю тщету, все неудачи —
Тень надежды безнадежной
«А могло бы быть иначе».

Заметает сумрак снежный
Все поля, все расстоянья.
Тень надежды безнадежной
Превращается в сиянье.

Все сгоревшие поленья,
Все решенные задачи,
Все слова, все преступленья...

А могло бы быть иначе.

* * *

Душа человека. Такою
Она не была никогда.
На небо глядела с тоскою,
Взволнованна, зла и горда.

И вот умирает. Так ясно,
Так просто сгорая дотла —
Легка, совершенна, прекрасна,
Нетленна, блаженна, светла.

Сиянье. Душа человека,
Как лебедь, поет и грустит,
И крылья раскинув широко,
Над бурями темного века
В беззвездное небо летит.

Над бурями темного рока
В сиянье. Всего не успеть...
Дым тянется... След остается...

И полною грудью поется,
Когда уже не о чем петь.

* * *

Жизнь бессмысленную прожил
На ветру и на юру.
На минуту — будто ожил.
Что там. Полезай в дыру.

Он, не споря, покорился
И теперь в земле навек.
Так ничем не озарился
Скудный труд и краткий век.
Но... тоскует человек.

И ему в земле не спится
Или снится скверный сон...

В доме скрипнет половица,
На окошко сядет птица,
В стенке хрустнет. Это — он.

И тому, кто в доме, жутко
И ему — ох! — тяжело.
А была одна минутка.
Мог поймать. Не повезло.

1943—1958
СТИХИ

* * *

Что-то сбудется, что-то не сбудется.
Перемелется все, позабудется...

Но останется эта вот, рыжая,
У заборной калитки трава.

...Если плещется где-то Нева,
Если к ней долетают слова —
Это вам говорю из Парижа я
То, что сам понимаю едва.

* * *

Все неизменно, и все изменилось
В утреннем холоде странной свободы.
Долгие годы мне многое снилось,
Вот я проснулся — и где эти годы!

Вот я иду по осеннему полю,
Все, как всегда, и другое, чем прежде:
Точно меня отпустили на волю
И отказали в последней надежде.

* * *

1

Друг друга отражают зеркала,
Взаимно искажая отраженья.

Я верю не в непобедимость зла,
А только в неизбежность пораженья.

Не в музыку, что жизнь мою сожгла,
А в пепел, что остался от сожженья.

2

Игра судьбы. Игра добра и зла.
Игра ума. Игра воображенья.
«Друг друга отражают зеркала,
Взаимно искажая отраженья...»

Мне говорят — ты выиграл игру!
Но все равно. Я больше не играю.
Допустим, как поэт я не умру,
Зато как человек я умираю.

* * *

Маятника мерное качанье,
Полночь, одиночество, молчанье.

Старые счета перебираю.
Умереть? Да вот не умираю.

Тихо перелистываю «Розы» —
«Кабы на цветы да не морозы»!

* * *

Где прошлогодний снег, скажите мне?..
Нетаявший, почти альпийский снег,
Невинной жертвой отданный весне,
Апрелем обращенный в плеск и бег,
В дыханье одуванчиков и роз,
Взволнованного мира светлый вал,
В поэзию,
                    В бессмысленный вопрос,
Что ей Виллон когда-то задавал?

* * *

Воскресают мертвецы,
Наши деды и отцы,
Пращуры и предки.

Рвутся к жизни, как птенцы,
Из постылой клетки.

Вымирают города,
Мужики и господа,
Старички и детки.

И глядит на мир звезда
Сквозь сухие ветки.

* * *

Мертвый проснется в могиле,
Черная давит доска.
Что это? Что это? — Или
И воскресенье тоска?

И воскресенье унынье?
Скучное дело — домой.
...Тянет Волынью, полынью,
Тянет сумой и тюрьмой.

И над соломой избенок,
Сквозь косогоры и лес,
Жалобно плачет ребенок,
Тот, что сегодня воскрес.

* * *

Он спал, и Офелия снилась ему
В болотных огнях, в подвенечном дыму.

Она музыкальной спиралью плыла,
Как сон, отражали ее зеркала,

Как нимб, окружали ее светляки,
Как лес, вырастали за ней васильки...

...Как просто страдать! Можно душу отдать
И все-таки сна не уметь передать.
И зная, что гибель стоит за плечом,
Грустить ни о ком, мечтать ни о чем...

* * *

День превратился в свое отраженье,
В изнеможенье, головокруженье.

В звезды и музыку день превратился.
Может быть, мир навсегда прекратился?

Что-то похожее было со мною.
Тоже у озера, тоже весною,

В синих и розовых сумерках тоже...
...Странно, что я был когда-то моложе.

* * *

Рассказать обо всех мировых дураках,
Что судьбу человечества держат в руках?

Рассказать обо всех мертвецах-подлецах,
Что уходят в историю в светлых венцах?

Для чего?
                Тишина под парижским мостом.
И какое мне дело, что будет потом.

* * *

А люди? Ну на что мне люди?
Идет мужик, ведет быка.
Сидит торговка: ноги, груди,
Платочек, круглые бока.

Природа? Вот она, природа —
То дождь и холод, то жара.
Тоска в любое время года,
Как дребезжанье комара.

Конечно, есть и развлеченья:
Страх бедности, любви мученья,
Искусства сладкий леденец,
Самоубийство, наконец.

* * *

Образ полусотворенный,
Шопот недоговоренный,
Полужизнь, полуусталость —
Это все, что мне осталось.

Принимаю, как награду,
Тень, скользящую по саду,
Переход апреля к маю,
Как подарок, принимаю.

* * *

В награду за мои грехи,
Позор и торжество,
Вдруг появляются стихи —
Вот так... Из ничего...

Все кое-как и как-нибудь,
Волшебно на авось:
Как розы падают на грудь...
— И ты мне розу брось!

Нет, лучше брось за облака —
Там рифма заблестит,
Коснется тленного цветка
И в вечный превратит.

* * *

Холодно... В сумерках этой страны
Гибнут друзья, торжествуют враги.
Снятся мне в небе пустом
Белые звезды над черным крестом.
    И не слышны голоса и шаги,
    Или почти не слышны.

Синие сумерки этой страны...
Всюду, куда ни посмотришь,— снега.
Жизнь положив на весы,
Вижу, что жизнь мне не так дорога.
    И не страшны мне ночные часы,
    Или почти не страшны...

* * *

Тихим вечером в тихом саду
Облака отражались в пруду.

Ангел нес в бесконечность звезду
И ее уронил над прудом...

И стоит заколоченный дом,
И молчит заболоченный пруд,
Скоро в нем и лягушки умрут.

И лежишь на болотистом дне
Ты, сиявшая мне в вышине...

* * *

Каждой ночью грозы
Не дают мне спать.
Отцветают розы
И цветут опять.
Точно в мир спустилась
Вечная весна,
Точно распустилась
Розами война.

Тишины всемирной
Голубая тьма.
Никогда так мирны
Не были дома.
И такою древней
Не была земля...

...Тишина деревни,
Тополя, поля.

Вслушиваясь в слабый,
Нежный шум ветвей,
Поджидают бабы
Мертвых сыновей:
В старости опора
Каждому нужна,
А теперь уж скоро
Кончится война!

* * *

Был замысел странно-порочен,
И все-таки жизнь подняла
В тумане — туманные очи
И два лебединых крыла.

И все-таки тени качнулись,
Пока догорала свеча.
И все-таки струны рванулись,
Бессмысленным счастьем звуча...

* * *

Потеряв даже в прошлое веру,
Став ни это, мой друг, и ни то,—
Уплываем теперь на Цитеру
В синеватом сияньи Ватто...

Грусть любуется лунным пейзажем,
Смерть, как парус, шумит за кормой...

...Никому ни о чем не расскажем,
Никогда не вернемся домой.

* * *

Отражая волны голубого света,
В направленьи Ниццы пробежал трамвай.
—Задавай вопросы. Не проси ответа.
Лучше и вопросов, друг, не задавай.

Улыбайся морю. Наслаждайся югом.
Помни, что в России—ночь и холода,
Помни, что тебя я называю другом,
Зная, что не встречу нигде и никогда...

* * *

Ничего не вернуть. И зачем возвращать?
Разучились любить, разучились прощать,
Забывать никогда не научимся...

Спит спокойно и сладко чужая страна,
Море ровно шумит. Наступает весна
В этом мире, в котором мы мучимся.

* * *

На грани таянья и льда
Зеленоватая звезда.

На грани музыки и сна
Полу-зима, полу-весна,

К невесте тянется жених
И звезды падают на них,

Летят сквозь снежную фату,
В сияющую пустоту.

Ты — это я. Я — это ты.
Слова нежны. Сердца пусты.

Я — это ты. Ты — это я
На хрупком льду небытия.

* * *

Отвратительнейший шум на свете —
Грохот авиона на рассвете...

И зачем тебя, наш дом, разбили?
Ты был маленький, волшебный дом,
Как ребенка, мы тебя любили,
Строили тебя с таким трудом.

* * *

Лунатик в пустоту глядит,
Сиянье им руководит,
Чернеет гибель снизу.
И даже угадать нельзя,
Куда он движется, скользя,
По лунному карнизу.

Расстреливают палачи
Невинных в мировой ночи —
Не обращай вниманья!
Гляди в холодное ничто,
В сияньи постигая то,
Что выше пониманья.

* * *

Летний вечер прозрачный и грузный.
Встала радуга коркой арбузной,
Вьется птица — крылатый булыжник...

Так на небо глядел передвижник,
Оптимист и искусства подвижник.

Он был прав. Мы с тобою не правы.
Берегись декадентской отравы:
«Райских звезд», искаженного света,
Упоенья сомнительной славы,
Неизбежной расплаты за это.

* * *

Стоило ли этого счастье безрассудное?
Все-таки возможное? О, конечно, да.
Птицей улетевшее в небо изумрудное,
Где переливается вечерняя звезда.

Будьте легкомысленней! Будьте легковернее!
Если вам не спится — выдумывайте сны.
Будьте, если можете, как звезда вечерняя,
Так же упоительны, так же холодны.

* * *

Ветер тише, дождик глуше,
И на все один ответ:
Корабли увидят сушу,
Мертвые увидят свет.

Ежедневной жизни муку
Я и так едва терплю.
За ритмическую скуку,
Дождик, я тебя люблю.

Барабанит, барабанит,
Барабанит,— ну и пусть.
А когда совсем устанет,
И моя устанет грусть.

В самом деле — что я трушу:
Хуже страха вещи нет.
Ну и потеряю душу,
Ну и не увижу свет.

* * *

По дому бродит полуночник —
То улыбнется, то вздохнет,
То ослабевший позвоночник
Над письменным столом согнет.

Черкнет и бросит. Выпьет чаю,
Загрезит чем-то наяву.
...Нельзя сказать, что я скучаю.
Нельзя сказать, что я живу.

Не обижаясь, не жалея,
Не вспоминая, не грустя.

...Так труп в песке лежит, не тлея,
И так рожденья ждет дитя.

* * *

Если бы жить... Только бы жить...
Хоть на литейном заводе служить.

Хоть углекопом с тяжелой киркой,
Хоть бурлаком над Великой рекой.

«Ухнем, дубинушка!..»
Все это сны.
Руки твои ни на что не нужны.

Этим плечам ничего не поднять.
Нечего, значит, на Бога пенять:
Трубочка есть. Водочка есть.
Всем в кабаке одинакова честь!

* * *

С бесчеловечною судьбой
Какой же спор? Какой же бой?
Все это наважденье.
Но этот вечер голубой
Еще мое владенье.

И небо. Красно меж ветвей,
А по краям жемчужно...
Свистит в сирени соловей,
Ползет по травке муравей —
Кому-то это нужно.

Пожалуй, нужно даже то,
Что я вдыхаю воздух,
Что старое мое пальто
Закатом слева залито,
А справа тонет в звездах.

* * *

В дыму, в огне, в сияньи, в кружевах,
И веерах, и страусовых перьях!..
В сухих цветах, в бессмысленных словах,
И в детских снах, и в детских суеверьях —

Так женщина смеется на балу,
Так беззаконная звезда летит во мглу...

* * *

Восточные поэты пели
Хвалу цветам и именам,
Догадываясь еле-еле
О том, что недоступно нам.

Но эта смутная догадка
Полу-мечта, полу-хвала,
Вся разукрашенная сладко,
Тем ядовитее была.

Сияла ночь Омар-Хаяму,
Свистел персидский соловей,
И розы заплетали яму,
Могильных полную червей.

Быть может, высшая надменность:
То развлекаться, то скучать,
Сквозь пальцы видеть современность,
О самом главном — промолчать.

* * *

У входа в бойни, сквозь стальной туман,
Поскрипывая, полз подъемный кран,
И ледяная чешуя канала
Венецию слегка напоминала...

А небо было в розах и в огне
Таких, что сердце начинало биться...
Как будто все обещанное мне
Сейчас, немедленно, осуществится.

* * *

То, о чем искусство лжет,
Ничего не открывая,
То, что сердце бережет —
Вечный свет, вода живая...

Остальное пустяки.
Вьются у зажженной свечки
Комары и мотыльки,
Суетятся человечки,
Умники и дураки.

* * *

В конце концов судьба любая
Могла бы быть моей судьбой.
От безразличья погибая,
Гляжу на вечер голубой.

Домишки покосились вправо
Под нежным натиском веков,
А дальше тишина и слава
Весны, заката, облаков...

1

В тишине вздохнула жаба.
Из калитки вышла баба
В ситцевом платке.

Сердце бьется слабо, слабо,
Будто вдалеке.

В светлом небе пусто, пусто.
Как ядреная капуста,
Катится луна.

И бессмыслица искусства
Вся, насквозь, видна..

2

Портной обновочку утюжит,
Сопит портной, шипит утюг,
И брюки выглядят не хуже
Любых обыкновенных брюк.

А между тем они из воска,
Из музыки, из лебеды,
На синем белая полоска —
Граница счастья и беды.

Из бездны протянулись руки...
В одной цветы, в другой кинжал...
Вскочил портной, спасая брюки,
Но никуда не убежал.

Торчит кинжал в боку портного,
Белеют розы на груди.
В сияньи брюки Ивано́ва
Летят — и вечность впереди...

3

Все чаще эти объявленья:
Однополчане и семья
Вновь выражают сожаленья...
«Сегодня ты, а завтра я!»

Мы вымираем по порядку —
Кто поутру, кто вечерком —
И на кладбищенскую грядку
Ложимся, ровненько, рядком.

Невероятно до смешного:
Был целый мир — и нет его...

Вдруг — ни похода ледяного,
Ни капитана Ивано́ва,
Ну абсолютно ничего!

4

Где-то белые медведи
На таком же белом льду
Повторяют «буки-веди»,
Принимаясь за еду.

Где-то рыжие верблюды
На оранжевом песке
Опасаются простуды,
Напевая «бре-ке-ке».

Все всегда, когда-то, где-то
Время глупое ползет.
Мне шестериком карета
Ничего не привезет.

5

А от цево? Никто не ведает притцыны.
Фонвизин

По улице уносит стружки
Ноябрьский ветер ледяной.
— Вы русский? — Ну понятно, р у ш к и й.
Нос бесконечный. Шарф смешной.

Есть у него жена и дети,
Своя мечта, своя беда...
Как скучно жить на этом свете,
Как неуютно, господа!

Обедать, спать, болеть поносом.
Немножко красть. — А кто не крал?
...Такой же Гоголь с длинным носом
Так долго, страшно умирал...

6

Зазеваешься, мечтая,
Дрогнет удочка в руке —
Вот и рыбка золотая
На серебряном крючке.

Так мгновенно, так прелестно —
Солнце, ветер и вода,
Даже рыбке в речке тесно,
Даже ей нужна беда:

Нужно, чтобы небо гасло,
Лодка ластилась к воде,
Чтобы закипало масло
Нежно на сковороде.

7

Снова море, снова пальмы,
И гвоздики, и песок,
Снова вкрадчиво-печальный
Этой птички голосок.

Никогда ее не видел
И не знаю, какова.
Кто ее навек обидел,
В чем, своем, она права?

Велика иль невеличка?
Любит воду иль песок?
Может, и совсем не птичка,
А из ада голосок?

8

Добровольно, до срока
(Все равно — решено),
Не окончив урока,
Опускайтесь на дно.

С неизбежным не споря
(Волноваться смешно),
У лазурного моря
Допивайте вино!

Улыбнитесь друг другу
И снимайтесь с земли,
Треугольником, к югу,
Как вдали журавли...

9

В пышном доме графа Зубова
О блаженстве, о Италии
Тенор пел. С румяных губ его
Звуки, тая, улетали и

За окном, шумя полозьями,
Пешеходами, трамваями,
Гаснул, как в туманном озере,
Петербург незабываемый.

...Абажур зажегся матово
В голубой, овальной комнате.
Нежно гладя пса лохматого,
Предсказала мне Ахматова:
«Этот вечер вы запомните».

10

> Имя тебе непонятное дали,
> Ты забытье.
> Или — точнее — цианистый калий
> Имя твое.
>
> *Георгий Адамович*

Как вы когда-то разборчивы были,
О, дорогие мои.
Водки не пили, ее не любили,
Предпочитали Нюи.

Стал нашим хлебом — цианистый калий,
Нашей водой — сулема.
Что ж? Притерпелись и попривыкали,
Не посходили с ума.

Даже напротив — в бессмысленно-злобном
Мире — противимся злу:
Ласково кружимся в вальсе загробном
На эмигрантском балу.

11

Голубизна чужого моря,
Блаженный вздох весны чужой
Для нас скорей эмблема горя,
Чем символ прелести земной.

...Фитиль, любитель керосина,
Затрепетал, вздохнул, потух —
И внемлет арфе Серафима
В священном ужасе петух.

12

Вот более иль менее
Приехали в имение.
Вот менее иль более
Дорожки, клумбы, поле и
Все то, что полагается,
Чтоб дачникам утешиться:
Идет старик — ругается,
Сидит собака — чешется.

И более иль менее —
На всем недоумение.

13

Что мне нравится — того я не имею,
Что хотел бы делать — делать не умею.

Мне мое лицо, походка, даже сны
Головокружительно скучны.

— Как же так? Позволь... Да что с тобой такое?
— Ах, любезный друг, оставь меня в покое!..

14

На полянке поутру
Веселился кенгуру —
Хвостик собственный кусал,
В воздух лапочки бросал.

Тут же рядом камбала
Водку пи́ла, ром пила́,
Раздевалась догола,
Напевала тра-ла-ла,
Любовалась в зеркала...

— Тра-ла-ла-ла-ла-ла-ла,
Я флакон одеколону,
Не жалея, извела,
Вертебральную колонну
Оттирая добела!..

15

Художников развязная мазня,
Поэтов выспренняя болтовня...

Гляжу на это рабское старанье,
Испытывая жалость и тоску:

Насколько лучше — блеянье баранье,
Мычанье, кваканье, кукуреку.

* * *

Торжественно кончается весна,
И розы, как в эдеме, расцвели.
Над океаном блеск и тишина,
И в блеске — паруса и корабли...

...Узнает ли когда-нибудь она,
Моя невероятная страна,
Что было солью каторжной земли?

А впрочем, соли всюду грош цена:
Просыпали — метелкой подмели.

* * *

Калитка закрылась со скрипом,
Осталась в пространстве заря
И к благоухающим липам
Приблизился свет фонаря.

И влажно они просияли
Курчавою тенью сквозной,
Как отблеск на одеяле
Свечей, сквозь дымок отходной.

И важно они прошумели,
Как будто посмели теперь
Сказать то, чего не умели,
Пока не захлопнулась дверь.

* * *

Эмалевый крестик в петлице
И серой тужурки сукно...
Какие печальные лица
И как это было давно.

Какие прекрасные лица
И как безнадежно бледны —
Наследник, императрица,
Четыре великих княжны...

* * *

Теперь, когда я сгнил и черви обглодали
До блеска остов мой и удалились прочь,
Со мной случилось то, чего не ожидали
Ни те, кто мне вредил, ни кто хотел помочь.

Любезные друзья, не стоил я презренья,
Прелестные враги, помочь вы не могли.
Мне исковеркал жизнь талант двойного зренья,
Но даже черви им, увы, пренебрегли.

* * *

Смилостивилась погода,
Дождик перестал.
Час от часу, год от года,
Как же я устал!

Даже не отдать отчета,
Боже, до чего!
Ни надежды. Ни расчета.
Просто — ничего.

Прожиты тысячелетья
В черной пустоте.
И не прочь бы умереть я,
Если бы не «те».

«Те» иль «эти»? «Те» иль «эти»?
Ах, не все ль равно
(Перед тем, как в лунном свете
Улететь в окно).

* * *

«Желтофиоль» — похоже на виолу,
На меланхолию, на канифоль.
Иллюзия относится к Эолу,
Как к белизне — безмолвие и боль.
И, подчиняясь рифмы произволу,
Мне все равно — пароль или король.

Поэзия — точнейшая наука:
Друг друга отражают зеркала,
Срывается с натянутого лука
Отравленная музыкой стрела
И в пустоту летит, быстрее звука...

«...Оставь меня. Мне ложе стелет скука»!

* * *

Этой жизни нелепость и нежность
Проходя, как под теплым дождем,
Знаем мы — впереди неизбежность,
Но ее появленья не ждем.

И, проснувшись от резкого света,
Видим вдруг — неизбежность пришла́,
Как в безоблачном небе комета,
Лучезарная вестница зла.

* * *

Мелодия становится цветком,
Он распускается и осыпается,
Он делается ветром и песком,
Летящим на огонь весенним мотыльком,
Ветвями ивы в воду опускается...

Проходит тысяча мгновенных лет,
И перевоплощается мелодия
В тяжелый взгляд, в сиянье эполет,
В рейтузы, в ментик, в «Ваше благородие»,
В корнета гвардии — о, почему бы нет?..

Туман... Тамань... Пустыня внемлет Богу.
— Как далеко до завтрашнего дня!..

И Лермонтов один выходит на дорогу,
Серебряными шпорами звеня.

* * *

Владимиру Маркову

Полутона рябины и малины,
В Шотландии рассыпанные втуне,
В меланхоличном имени Алины,
В голубоватом золоте латуни.
Сияет жизнь улыбкой изумленной,
Растит цветы, расстреливает пленных,
И входит гость в Коринф многоколонный,
Чтоб изнемочь в объятьях вожделенных!

В упряжке скифской трепетные лани —
Мелодия, элегия, эвлега...
Скрипящая в трансцендентальном плане,
Немазанная катится телега.
На Грузию ложится мгла ночная.
В Афинах полночь. В Пятигорске грозы.

...И лучше умереть, не вспоминая,
Как хороши, как свежи были розы.

* * *

Солнце село,и краски погасли.
Чист и ясен пустой небосвод.
Как сардинка в оливковом масле,
Одиночная тучка плывет.

Не особенно важная штучка
И, притом, не нужна никому,
Ну, а все-таки, милая тучка,
Я тебя в это сердце возьму.

Много в нем всевозможного хлама,
Много музыки, мало ума,
И царит в нем Прекрасная Дама,
Кто такая — увидишь сама.

* * *

Стало тревожно-прохладно,
Благоуханно в саду.
Гром прогремел... Ну, и ладно,
Значит, гулять не пойду.

...С детства знакомое чувство —
Чем бы бессмертье купить,
Как бы салазки искусства
К летней грозе прицепить?

* * *

Так, занимаясь пустяками —
Покупками или бритьем,—
Своими слабыми руками
Мы чудный мир воссоздаем.

И поднимаясь облаками
Ввысь — к небожителям на пир,—
Своими слабыми руками
Мы разрушаем этот мир.

Туманные проходят годы,
И вперемежку дышим мы
То затхлым воздухом свободы,
То вольным холодом тюрьмы.

И принимаем вперемежку —
С надменностью встречая их —
То восхищенье, то насмешку
От современников своих.

* * *

Роману Гулю

Нет в России даже дорогих могил,
Может быть, и были — только я забыл.

Нету Петербурга, Киева, Москвы —
Может быть, и были, да забыл, увы.

Ни границ не знаю, ни морей, ни рек.
Знаю — там остался русский человек.

Русский он по сердцу, русский по уму,
Если я с ним встречусь, я его пойму.

Сразу, с полуслова... И тогда начну
Различать в тумане и его страну.

* * *

Еще я нахожу очарованье
В случайных мелочах и пустяках —
В романе без конца и без названья,
Вот в этой розе, вянущей в руках.

Мне нравится, что на ее муаре
Колышется дождинок серебро,
Что я нашел ее на тротуаре
И выброшу в помойное ведро.

* * *

Полу-жалость. Полу-отвращенье.
Полу-память. Полу-ощущенье.
Полу-неизвестно что,
Полы моего пальто...

Полы моего пальто?
                    Так вот в чем дело!

Чуть меня машина не задела
И умчалась вдаль, забрызгав грязью.
Начал вытирать, запачкал руки...

Все еще мне не привыкнуть к скуке,
Скуке мирового безобразья!

* * *

Как обидно — чудным даром,
Божьим даром обладать,
Зная, что растратишь даром
Золотую благодать.

И не только зря растратишь,
Жемчуг свиньям раздаря,
Но еще к нему доплатишь
Жизнь, погубленную зря.

* * *

Иду — и думаю о разном,
Плету на гроб себе венок,
И в этом мире безобразном
Благообразно одинок.

Но слышу вдруг: война, идея,
Последний бой, двадцатый век...
И вспоминаю, холодея,
Что я уже не человек,

А судорога идиота,
Природой созданная зря,—
«Урра!» из пасти патриота,
«Долой!» из глотки бунтаря.

* * *

Свободен путь под Фермопилами
На все четыре стороны.
И Греция цветет могилами,
Как будто не было войны.

А мы — Леонтьева и Тютчева
Сумбурные ученики —
Мы никогда не знали лучшего,
Чем праздной жизни пустяки.

Мы тешимся самообманами,
И нам потворствует весна,
Пройдя меж трезвыми и пьяными,
Она садится у окна.

«Дыша духами и туманами,
Она садится у окна».
Ей за морями-океанами
Видна блаженная страна:

Стоят рождественские елочки,
Скрывая снежную тюрьму.
И голубые комсомолочки,
Визжа, купаются в Крыму.

Они ныряют над могилами,
С одной — стихи, с другой — жених...
...И Леонид под Фермопилами,
Конечно, умер и за них.

13*

* * *

Я хотел бы улыбнуться,
Отдохнуть, домой вернуться...
Я хотел бы так немного,
То, что есть почти у всех,
Но что мне просить у Бога —
И бессмыслица и грех.

* * *

Все на свете не беда,
Все на свете ерунда,
Все на свете прекратится —
И всего верней — проститься,
Дорогие господа,
С этим миром навсегда.

Можно и не умирая,
Оставаясь подлецом,
Нежным мужем и отцом,
Притворяясь и играя,
Быть отличным мертвецом.

* * *

Я научился понемногу
Шагать со всеми — рядом, в ногу.
По пустякам не волноваться
И правилам повиноваться.

Встают — встаю. Садятся — сяду.
Стозначный номер помню свой.
Лояльно благодарен Аду
За звездный кров над головой.

* * *

Уплывают маленькие ялики
В золотой междупланетный омут.
Вот уже растаял самый маленький,
А за ним и остальные тонут.

На последней самой утлой лодочке
Мы с тобой качаемся вдвоем:
Припасли, дружок, немного водочки,
Вот теперь ее и разопьем...

* * *

Сознанье, как море, не может молчать,
Стремится сдержаться, не может сдержаться,
Все рвется на все и всему отвечать,
Всему удивляться, на все раздражаться.

Головокруженье с утра началось,
Всю ночь продолжалось головокруженье,
И вот — долгожданное счастье сбылось:
На миг ослабело Твое притяженье.

...Был синий рассвет. Так блаженно спалось.
Так сладко дышалось...
                                        И вновь началось
Сиянье, волненье, броженье, движенье.

* * *

Стоят сады в сияньи белоснежном,
И ветер шелестит дыханьем влажным.

— Поговорим с тобой о самом важном,
О самом страшном и о самом нежном,
Поговорим с тобой о неизбежном:

Ты прожил жизнь, ее не замечая,
Бессмысленно мечтая и скучая,—
Вот, наконец, кончается и это...

Я слушаю его, не отвечая,
Да он, конечно, и не ждет ответа.

* * *

Все туман. Бреду в тумане я
Скуки и непонимания.
И — с ученым или неучем —
Толковать мне, в общем, не о чем.

Я бы зажил, зажил заново
Не Георгием Ивановым,
А слегка очеловеченным,
Энергичным, щеткой вымытым,
Вовсе роком не отмеченным,
Первым встречным-поперечным —
Все равно какое имя там...

* * *

> В Петербурге мы сойдемся снова,
> Словно солнце мы похоронили в нем...
> *О. Мандельштам*

Четверть века прошло за границей,
И надеяться стало смешным.
Лучезарное небо над Ниццей
Навсегда стало небом родным.

Тишина благодатного юга.
Шорох волн, золотое вино...

Но поет петербургская вьюга
В занесенное снегом окно,
Что пророчество мертвого друга
Обязательно сбыться должно.

* * *

Эти сумерки вечерние
Вспомнил я по воле случая.
Плыли в Костромской губернии
Тишина, благополучие.

Празднично цвела природа,
Словно ей обновку сшили:
Груши грузными корзинами,
Астры пышными охапками...
(В чайной «русского народа»
Трезвенники спирт глушили:
— Внутреннего — жарь резинами!
— Немца — закидаем шапками!)

И на грани кругозора,
Сквозь дремоту палисадников,—
Силуэты черных всадников
С красным знаменем позора.

* * *

Овеянный тускнеющею славой,
В кольце святош, кретинов и пройдох,
Не изнемог в бою Орел Двуглавый,
А жутко, унизительно издох.

Один сказал с усмешкою: «Дождался!»
Другой заплакал: «Господи, прости...»
А чучела никто не догадался
В изгнанье, как в могилу, унести.

* * *

Голубая речка,
Зябкая волна,
Времени утечка
Явственно слышна.

Голубая речка
Предлагает мне
Теплое местечко
На холодном дне.

* * *

Луны начищенный пятак
Блеснул сквозь паутину веток,
Речное озаряя дно.

И лодка — повернувшись так,
Не может повернуться этак,
Раз все вперед предрешено.

А если не предрешено?
Тогда... И я могу проснуться —
(О, только разбуди меня!),

Широко распахнуть окно
И благодарно улыбнуться
Сиянью завтрашнего дня.

* * *

Звезды меркли в бледнеющем небе,
Все слабей отражаясь в воде.
Облака проплывали, как лебеди,
С розовеющей далью редея...

Лебедями проплыли сомнения,
И тревога в сияньи померкла,
Без следа растворившись в душе,

И глядела душа, хорошея,
Как влюбленная женщина в зеркало,
В торжество, неизвестное мне.

* * *

Белая лошадь бредет без упряжки.
Белая лошадь, куда ты бредешь?
Солнце сияет. Платки и рубашки
Треплет в саду предвесенняя дрожь.

Я, что когда-то с Россией простился
(Ночью навстречу полярной заре),
Не оглянулся, не перекрестился
И не заметил, как вдруг очутился
В этой глухой европейской дыре.

Хоть поскучать бы... Но я не скучаю.
Жизнь потерял, а покой берегу.
Письма от мертвых друзей получаю
И, прочитав, с облегчением жгу
На голубом предвесеннем снегу.

* * *

Нечего тебе тревожиться,
Надо бы давно простить.
Но чудак грустит и божится,
Что не может не грустить.

Нам бы, да в сияньи шелковом,
Осень-весен поджидая,
На Успенском или Волковом,
Под песочком Голодая,
На ступенях Исаакия
Или в прорубь на Неве...

...Беспокойство. Ну, и всякие
Вожделенья в голове.

* * *

Цветущих яблонь тень сквозная,
Косого солнца бледный свет,
И снова — ничего не зная,
Как в пять или в пятнадцать лет,—

Замученное сердце радо
Тому, что я домой бреду,
Тому, что нежная прохлада
Разлита в яблонном саду.

* * *

Тускнеющий вечерний час,
Река и частокол в тумане...
Что связывает нас? Всех нас?
Взаимное непониманье.

Все наши беды и дела,
Жизнь всех людей без исключенья...
Века, века она текла,
И вот я принесен теченьем —

В парижский пригород, сюда,
Где мальчик огород копает,
Гудят протяжно провода
И робко первая звезда
Сквозь светлый сумрак проступает.

* * *

На границе снега и таянья,
Неподвижности и движения,
Легкомыслия и отчаяния —
Сердцебиение, головокружение...

Голубая ночь одиночества —
На осколки жизнь разбивается,
Исчезают имя и отчество,
И фамилия расплывается...

Точно звезды, встают пророчества,
Обрываются!.. Не сбываются!..

* * *

Закат в полнеба занесен,
Уходит в пурпур и виссон
Лазурно-кружевная Ницца...

...Леноре снится страшный сон —
Леноре ничего не снится.

* * *

Я твердо решился и тут же забыл,
На что я так твердо решился.
День влажно-сиренево-солнечный был,
И этим вопрос разрешился.

Так часто бывает: куда-то спешу
И в трепете света и тени
Сначала раскаюсь, потом согрешу
И строчка за строчкой навек запишу
Благоуханье сирени.

* * *

Насладись, пока не поздно,
Ведь искать недалеко,
Тем, что в мире грациозно,
Грациозно и легко.

Больше нечему учиться,
Прозевал и был таков:
Пара медных пятаков,
«Без речей и без венков»
(Иль с речами — как случится).

* * *

Поэзия: искусственная поза,
Условное сиянье звездных чар,
Где, улыбаясь, произносят — «Роза»
И с содроганьем думают: «Анчар».

Где, говоря о рае, дышат адом
Мучительных ночей и страшных дней,
Пропитанных насквозь блаженным ядом
Проросших в мироздание корней.

* * *

Мне весна ничего не сказала —
Не могла. Может быть — не нашлась.
Только в мутном пролете вокзала
Мимолетная люстра зажглась.

Только кто-то кому-то с перрона
Поклонился в ночной синеве,
Только слабо блеснула корона
На несчастной моей голове.

* * *

Почти не видно человека среди сиянья и шелков —
Галантнейший художник века, галантнейшего из веков.

Гармония? Очарованье? Разуверенье? Все не то.
Никто не подыскал названья прозрачной прелести Ватто.

Как роза вянущая в вазе (зачем Господь ее сорвал?),
Как русский Демон на Кавказе, он в Валансьене тосковал...

* * *

Теперь тебя не уничтожат,
Как тот безумный вождь мечтал.
Судьба поможет, Бог поможет,
Но — русский человек устал...

Устал страдать, устал гордиться,
Валя куда-то напролом.
Пора забвеньем насладиться,
А может быть — пора на слом...

...И ничему не возродиться
Ни под серпом, ни под орлом!

* * *

Ветер с Невы. Леденеющий март.
Площадь. Дворец. Часовые. Штандарт.

...Как я завидовал вам, обыватели,
Обыкновенные люди простые:
Богоискатели, бомбометатели,
В этом дворце, в Чухломе ль, в каземате ли
Снились вам, в сущности, сны золотые...

В черной шинели, с погонами синими,
Шел я, не видя ни улиц, ни лиц.
Видя, как звезды встают над пустынями
Ваших волнений и ваших столиц.

* * *

Просил. Но никто не помог.
Хотел помолиться. Не мог.
Вернулся домой. Ну, пора!
Не ждать же еще до утра.

И вспомнил несчастный дурак,
Пощупав, крепка ли петля,
С отчаяньем прыгая в мрак,
Не то, чем прекрасна земля,
А грязный московский кабак,
Лакея засаленный фрак,
Гармошки заливистый вздор,
Огарок свечи, коридор,
На дверце два белых нуля.

* * *

Бредет старик на рыбный рынок
Купить полфунта судака.
Блестят мимозы от дождинок,
Блестит зеркальная река.

Провинциальные жилища.
Туземный говор. Лай собак.
Все на земле — питье и пища,
Кровать и крыша. И табак.

Даль. Облака. Вот это — ангел,
Другое — словно водолаз,
А третье — совершенный Врангель,
Моноклем округливший глаз.

Но Врангель — это в Петрограде,
Стихи, шампанское, снега...
О, пожалейте, Бога ради:
Склероз в крови, болит нога.

Никто его не пожалеет,
И не за что его жалеть.
Старик скрипучий околеет,
Как всем придется околеть.

Но все-таки... А остальное,
Что мне дано еще, пока —
Сады цветущею весною,
Мистраль, полфунта судака?

* * *

Жизнь пришла в порядок
В золотом покое.
На припеке грядок
Нежатся левкои.

Белые, лиловые,
И вчера, и завтра.
В солнечной столовой
Накрывают завтрак.

...В озере купаться
— Как светла вода! —
И не просыпаться
Больше никогда.

* * *

Меняется прическа и костюм,
Но остается тем же наше тело,
Надежды, страсти, беспокойный ум,
Чья б воля изменить их ни хотела.

Слепой Гомер и нынешний поэт,
Безвестный, обездоленный изгнаньем,
Хранят один — неугасимый! — свет,
Владеют тем же драгоценным знаньем.

И черни, требующей новизны,
Он говорит: «Нет новизны. Есть мера,
А вы мне отвратительно-смешны,
Как варвар, критикующий Гомера!»

14 Г. Иванов, т. 1
14—789

* * *

Волны шумели: «Скорее, скорее!»
К гибели легкую лодку несли,
Голубоватые стебли порея
В красный туман прорастали с земли.

Горы дымились, валежником тлея,
И настигали их с разных сторон,—
Лунное имя твое, Лорелея,
Рейнская полночь твоих похорон.

...Вот я иду по осеннему саду
И папиросу несу, как свечу.
Вот на скамейку чугунную сяду,
Брошу окурок. Ногой растопчу.

* * *

Я люблю безнадежный покой,
В октябре — хризантемы в цвету,
Огоньки за туманной рекой,
Догоревшей зари нищету...

Тишину безымянных могил,
Все банальности «Песен без слов»,
То, что Анненский жадно любил,
То, чего не терпел Гумилев.

* * *

О нет, не обращаюсь к миру я
И вашего не жду признания.
Я попросту хлороформирую
Поэзией свое сознание.

И наблюдаю с безучастием,
Как растворяются сомнения,
Как боль сливается со счастием
В сияньи одеревенения.

* * *

Если бы я мог забыться,
Если бы, что так устало,
Перестало сердце биться,
Сердце биться перестало,

Наконец — угомонилось,
Навсегда окаменело,
Но — как Лермонтову снилось —
Чтобы где-то жизнь звенела...

...Что любил, что не допето,
Что уже не видно взглядом,
Чтобы было близко где-то,
Где-то близко было, рядом...

* * *

Мне больше не страшно. Мне томно.
Я медленно в пропасть лечу
И вашей России не помню
И помнить ее не хочу.

И не отзываются дрожью
Банальной и сладкой тоски
Поля с колосящейся рожью,
Березки, дымки, огоньки...

* * *

То, что было, и то, чего не было,
То, что ждали мы, то, что не ждем,
Просияло в весеннее небо,
Прошумело коротким дождем.

Это все. Ничего не случилось.
Жизнь, как прежде, идет не спеша.
И напрасно в сиянье просилась
В эти четверть минуты душа.

* * *

Чем дольше живу я, тем менее
Мне ясно, чего я хочу.
Купил бы, пожалуй, имение.
Да чем за него заплачу?

Порою мечтаю прославиться
И тут же над этим смеюсь,
Не прочь и «подальше» отправиться,
А все же боюсь. Сознаюсь...

* * *

Все на свете дело случая —
Вот нажму на лотерею,
Денег выиграю кучу я
И усы, конечно, сбрею.

Потому что — для чего же
Богачу нужны усы?
Много, милостивый Боже,
В мире покупной красы:
И нилоны, и часы,
И вещички подороже.

* * *

Здесь в лесах даже розы цветут,
Даже пальмы растут — вот умора!
Но как странно — во Франции, тут,
Я нигде не встречал мухомора.

Может быть, просто климат не тот —
Мало сосен, березок, болотца...
Ну, а может быть, он не растет,
Потому что ему не растется

С той поры, с той далекой поры —
...Чахлый ельник, Балтийское море,
Тишина, пустота, комары,
Чья-то кровь на кривом мухоморе...

* * *

Не станет ни Европы, ни Америки,
Ни Царскосельских парков, ни Москвы —
Припадок атомической истерики
Все распылит в сияньи синевы.

Потом над морем ласково протянется
Прозрачный, всепрощающий дымок...
И Тот, кто мог помочь и не помог,
В предвечном одиночестве останется.

* * *

Все на свете пропадает даром,
Что же Ты робеешь? Не робей!
Размозжи его одним ударом,
На осколки звездные разбей!

Отрави его горчичным газом
Или бомбами испепели —
Что угодно — только кончи разом
С мукою и музыкой земли!

* * *

Листья падали, падали, падали,
И никто им не мог помешать.
От гниющих цветов, как от падали,
Тяжело становилось дышать.

И неслось светозарное пение
Над плескавшей в тумане рекой,
Обещая в блаженном успении
Отвратительный вечный покой.

* * *

Ну мало ли что бывает?..
Мало ли что бывало —
Вот облако проплывает,
Проплывает, как проплывало,

Деревья, автомобили,
Лягушки в пруду поют.
...Сегодня меня убили.
Завтра тебя убьют.

* * *

Все представляю в блаженном тумане я:
Статуи, арки, сады, цветники.
Темные волны прекрасной реки...

Раз начинаются воспоминания,
Значит... А может быть, все пустяки.

...Вот вылезаю, как зверь, из берлоги я,
В холод Парижа, сутулый, больной...
«Бедные люди» — пример тавтологии,
Кем это сказано? Может быть, мной.

* * *

Не обманывают только сны.
Сон всегда освобожденье: мы
Тайно, безнадежно влюблены
В рай за стенами своей тюрьмы.

Мильонеру — снится нищета.
Оборванцу — золото рекой.
Мне — моя последняя мечта,
Неосуществимая — покой.

* * *

На юге Франции прекрасны
Альпийский холод, нежный зной.
Шипит суглинок желто-красный
Под аметистовой волной.
И дети, крабов собирая,
Смеясь медузам и волнам,
Подходят к самой двери рая,
Который только снится нам.

Сверкает звездами браслета
Прохлады лунная рука,
И фиолетовое лето
Нам обеспечено — пока
В лучах расцвета-увяданья,
В узоре пены и плюща
Сияет вечное страданье,
Крылами чаек трепеща.

* * *

Т. Г. Терентьевой

А еще недавно было все, что надо,—
Липы и дорожки векового сада,
Там грустил Тургенев...
                                        Было все, что надо,
Белые колонны, кабинет и зала —
Там грустил Тургенев...

                                        И ему казалась
Жизнь стихотвореньем, музыкой, пастелью,
Где, не грея, светит мировая слава,
Где еще не скоро сменится метелью
Золотая осень крепостного права.

* * *

— Когда-нибудь, когда устанешь ты,
Устанешь до последнего предела...
— Но я и так устал до тошноты,
До отвращения...
— Тогда другое дело.
Тогда — спокойно, не спеша проверь
Все мысли, все дела, все ощущенья,
И если перевесит отвращенье —

Завидую тебе: перед тобою дверь
Распахнута в восторг развоплощенья.

* * *

Мы не молоды. Но и не стары.
Мы не мертвые. И не живые.
Вот мы слушаем рокот гитары
И романса «слова роковые»

О беспамятном счастье цыганском,
Об угарной любви и разлуке,
И — как вызов — стаканы с шампанским
Подымают дрожащие руки.

За бессмыслицу! За неудачи!
За потерю всего дорогого!
И за то, что могло быть иначе,
И за то — что не надо другого!

* * *

Как все бесцветно, все безвкусно,
Мертво внутри, смешно извне,
Как мне невыразимо грустно,
Как тошнотворно скучно мне...

Зевая сам от этой темы,
Ее меняю на ходу.

— Смотри, как пышны хризантемы
В сожженном осенью саду —
Как будто лермонтовский Демон
Грустит в оранжевом аду,
Как будто вспоминает Врубель
Обрывки творческого сна
И царственно идет на убыль
Лиловой музыки волна...

* * *

И.О.

И разве мог бы я, о посуди сама,
В твои глаза взглянуть и не сойти с ума.

«Сады». 1921 г.

Ты не расслышала, а я не повторил.
Был Петербург, апрель, закатный час,
Сиянье, волны, каменные львы...
И ветерок с Невы
Договорил за нас.

Ты улыбалась. Ты не поняла,
Что будет с нами, что нас ждет.
Черемуха в твоих руках цвела...
Вот наша жизнь прошла,
А это не пройдет.

* * *

И.О.

Распыленный мильоном мельчайших частиц
В ледяном, безвоздушном, бездушном эфире,
Где ни солнца, ни звезд, ни деревьев, ни птиц,
Я вернусь — отраженьем — в потерянном мире.

И опять, в романтическом Летнем Саду,
В голубой белизне петербургского мая,
По пустынным аллеям неслышно пройду,
Драгоценные плечи твои обнимая.

* * *

И.О.

Вся сиянье, вся непостоянство,
Как осколок погибшей звезды,—
Ты заброшена в наше пространство,
Где тебе даже звезды чужды.

И летишь — в никуда, ниоткуда,—
Обреченная вечно грустить,
Отрицать невозможное чудо
И бояться его пропустить.

* * *

И.О.

Отзовись, кукушечка, яблочко, змееныш,
Весточка, царапинка, снежинка, ручеек.
Нежности последыш, нелепости приемыш,
Кофе-чае-сахарный потерянный паек.

Отзовись, очухайся, пошевелись спросонок,
В одеяльной одури, в подушечной глуши,
Белочка, метелочка, косточка, утенок,
Ленточкой, веревочкой, чулочком задуши.

Отзовись, пожалуйста. Да нет — не отзовется.
Ну и делать нечего. Проживем и так.
Из огня да в полымя. Где тонко, там и рвется.
Палочка-стукалочка, полушка-четвертак.

* * *

И.О.

...Мне всегда открывается та же
Залитая чернилом страница...
И. Анненский

Может быть, умру я в Ницце,
Может быть, умру в Париже,
Может быть, в моей стране.
Для чего же о странице
Неизбежной, черно-рыжей
Постоянно думать мне!

В голубом дыханьи моря,
В ледяных стаканах пива
(Тех, что мы сейчас допьем)—
Пена счастья—волны горя,
Над могилами крапива,
Штора на окне твоем.

Вот ее колышет воздух
И из комнаты уносит
Наше зыбкое тепло,
То, что растворится в звездах,
То, о чем никто не спросит,
То, что было и прошло.

* * *

И.О.

Как туман на рассвете — чужая душа.
И прохожий в нее заглянул не спеша,
Улыбнулся и дальше пошел...

Было утро какого-то летнего дня.
Солнце встало, шиповник расцвел
Для людей, для тебя, для меня...

Можно вспомнить о Боге и Бога забыть,
Можно душу свою навсегда погубить
Или душу навеки спасти —

Оттого, что шиповнику время цвести
И цветущая ветка качнулась в саду,
Где сейчас я с тобою иду.

* * *

И.О.

Поговори со мной о пустяках,
О вечности поговори со мной.
Пусть, как ребенок, на твоих руках
Лежат цветы, рожденные весной.

Так беззаботна ты и так грустна.
Как музыка, ты можешь все простить.
Ты так же беззаботна, как весна,
И, как весна, не можешь не грустить.

* * *

Зима идет своим порядком —
Опять снежок. Еще должок.
И гадко в этом мире гадком
Жевать вчерашний пирожок.

И в этом мире слишком узком,
Где все потеря и урон,
Считать себя с чего-то русским,
Читать стихи, считать ворон.

Разнежась, радоваться маю,
Когда растаяла зима...
О, Господи, не понимаю,
Как все мы, не сойдя с ума,

Встаем-ложимся, щеки бреем,
Гуляем или пьем-едим,
О прошлом-будущем жалеем,
А душу все не продадим.

Вот эту вянущую душку —
За гривенник, копейку, грош.
Дороговато? — За полушку.
Бери бесплатно! — Не берешь?

* * *

Скучно, скучно мне до одуренья!
Скушал бы клубничного варенья,
Да потом меня изжога съест.

Хоть в раю у Бога много мест,
Только все расписаны заране.

Мне бы прогреметь на барабане,
Проскакать на золотом баране,
Позевать на Индию в окно.
Мне бы рыбкой в море-океане
Сигануть на мировое дно!

Скучно от несбыточных желаний...

...Вечный сон: забор, на нем слова.
Любопытно — поглядим-ка.
Заглянул. А там трава, дрова,
Вьется та же скука-невидимка.

* * *

Накипевшая за годы
Злость, сводящая с ума,
Злость к поборникам свободы,
Злость к ревнителям ярма,
Злость к хамью и джентльменам —
Разномастным специменам
Той же «мудрости земной»,
К миру и стране родной.

Злость? Вернее, безразличье
К жизни, к вечности, к судьбе.
Нечто кошкино иль птичье,
Отчего не по себе
Верным рыцарям приличья,
Благонравным А и Б,
Что уселись на трубе.

* * *

Туман. Передо мной дорога,
По ней привычно я бреду.
От будущего я немного,
Точнее — ничего не жду.
Не верю в милосердье Бога,
Не верю, что сгорю в аду.

Так арестанты по этапу
Плетутся из тюрьмы в тюрьму...
...Мне лев протягивает лапу,
И я ее любезно жму.

— Как поживаете, коллега?
Вы тоже спите без простынь?
Что на земле белее снега,
Прозрачней воздуха пустынь?

Вы убежали из зверинца?
Вы — царь зверей. А я — овца
В печальном положеньи принца
Без королевского дворца.

Без гонорара. Без короны.
Со всякой сволочью на «ты».
Смеются надо мной вороны,
Царапают меня коты.

Пускай царапают, смеются,
Я к этому привык давно.
Мне счастье поднеси на блюдце —
Я выброшу его в окно.

Стихи и звезды остаются,
А остальное — все равно!..

* * *

Отвлеченной сложностью персидского ковра,
Суетливой роскошью павлиньего хвоста
В небе расцветают и темнеют вечера,
О, совсем бессмысленно и все же неспроста.

Голубая яблоня над кружевом моста
Под прозрачно-призрачной верленовской
луной —
Миллионнолетняя земная красота,
Вечная бессмыслица — она опять со мной.

В общем, это правильно, и я еще дышу.
Подвернулась музыка: ее я запишу.
Синей паутиною (хвоста или моста),
Линией павлиньей. И все же неспроста.

СТИХОТВОРЕНИЯ, ИСКЛЮЧЕННЫЕ ИЗ КОРПУСА АВТОРСКИХ СБОРНИКОВ ПРИ ПЕРЕИЗДАНИИ

* * *

Где отцветают розы, где горит
Печальное полночное светило,
Источник плещется и говорит
О том, что будет, и о том, что было.

Унынья вздохи, разрушенья вид,
В пустынном небе облаков ветрила...
Здесь, в черных зарослях, меж бледных плит
Твоей любви заветная могила.

Твоей любви, поэт, твоей тоски...
На кладбище, в Шотландии туманной,
Осенних роз лелея лепестки,
Ей суждено остаться безымянной

И только вздохам ветра передать
Невыплаканной песни благодать!

ТУЧКОВА НАБЕРЕЖНАЯ

Фонарщик с лестницей, карабкаясь проворно,
Затеплил желтый газ над черною водой.
И плещется она размерно и минорно,
И отблеск красных туч тускнеет чередой.

Там Бирона дворец и парусников снасти,
Здесь бледный луч зари, упавший на панель,
Здесь ветер осени, скликающий ненастье,
Срывает с призрака дырявую шинель.

И вспыхивает газ по узким переулкам,
Где окна сторожит глухая старина,
Где с шумом городским, размеренным и гулким,
Сливает отзвук свой летейская волна.

ПАВЛОВСКИЙ ОФИЦЕР

Был пятый час утра, и барабанный бой
Сливался с музыкой воинственно-манерной.
Он вел гвардейский взвод и видел пред собой
Деревья, мелкий снег и Замок Инженерный.

Желтела сквозь туман ноябрьская заря,
И ветер шелестел осенними шелками.
Он знал, что каждый день летят фельдъегеря
В морозную Сибирь, где звон над рудниками.

Быть может, это час, отмеченный судьбой,
И он своих солдат неправильно расставил,
И гневно ждет его с трясущейся губой
На взмыленном коне самодержавный Павел.

Сослать немедленно! Вот царственный приказ.
И скачет адъютант с развернутой бумагой
К нему. А он стоит, не поднимая глаз,
С запятнанным гербом и сломанною шпагой.

«Здорово, молодцы!» Ответный крик в ушах,
Курносое лицо сквозь частый снег мелькнуло.
До завтра — пронесло! И отлетает страх
С торжественной волной приветственного гула.

* * *

1

Я не стал ни лучше и ни хуже.
Под ногами тот же прах земной,
Только расстоянье стало уже
Между вечной музыкой и мной.

Жду, когда исчезнет расстоянье,
Жду, когда исчезнут все слова
И душа провалится в сиянье
Катастрофы или торжества.

2

Что ж, поэтом долго ли родиться...
Вот сумей поэтом умереть!
Собственным позором насладиться,
В собственной бессмыслице сгореть!

Разрушая, снова начиная,
Все автоматически губя,
В доказательство, что жизнь иная
Так же безнадежна, как земная,
Так же недоступна для тебя.

* * *

Шаг направо. Два налево.
И опять стена.
Смотрит сквозь окошко хлева
Белая луна.

Шаг налево. Два направо.
На соломе — кровь...
Где они, надменность, слава,
Молодость, любовь?..

Все слила пустого хлева
Грязная стена.
Улыбнитесь, королева,
Вечность — вот она!

Впереди палач и плаха,
Вечность вся, в упор!
Улыбнитесь. И с размаха
Упадет топор.

* * *

Остановиться на мгновенье,
Взглянуть на Сену и дома,
Испытывая вдохновенье,
Почти сводящее с ума.

Оно никак не воплотится,
Но через годы и века
Такой же луч зазолотится
Сквозь гаснущие облака,

Сливая счастье и страданье
В неясной прелести земной...
И это будет оправданье
Всего, погубленного мной.

СТИХОТВОРЕНИЯ, НЕ ВХОДИВШИЕ В ПРИЖИЗНЕННЫЕ СБОРНИКИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ах, как сладко читать объявления
В какой-нибудь столичной газете:
Лучшего средства для усыпления
Не найти на целом свете.
«Ежедневно свежие пирожные...
Большой выбор дешевых граммофонов.
Электричеством болезни накожные
Излечивает доктор Семенов.
Получена японская парфюмерия...
Замечательное средство даром...
В кинематографе необычная феерия:
Похищение одалиски гусаром.
Молодая дама интересная
На все за пять рублей готова...
Вдова из себя полновесная
Экономкой хочет быть у пожилого...
«Крем Реформ»... Голова опускается...
«Для мужчин»... Сладко ломит спину...
«Высылаю»... Веки смыкаются,
И глаза уж не видят — «Угрина».

ПЕСЕНКИ

1. ПРИКАЗЧИЧЬЯ

Я иду себе, насвистывая,
Солнце льется на меня.
Вижу — блузочка батистовая
Замечталась у плетня.

Не модистка и не горничная —
Гимназисточка скорей.
Лейся, лейся, пламя солнечное,
Пуще душу разогрей.

И плетень толкаю тросточкою,
И улыбка мне в ответ:
Миловидного подросточка я
Поцелую или нет?

2. ДЕВИЧЬЯ

Рассвет закинул полымя
И в горницу мою.
Я с птицами да с пчелами
Ранехонько встаю.

Уж звезды утром всполоты,
Шумит вороний грай,
И скоро Божье золото
Польется через край.

Зовет меня околицей
Чуть слышный голосок.
Иду — и ноги колются
Босые о песок.

Ах, все забыть готова я
От сладостной тоски!
Кругом сады фруктовые
Роняют лепестки...

ЗА ГОРОДОМ

Песни звонкие девчонок
Возле озера слышны,
И похоже на бочонок
Отражение луны.

Город в сумраке закатном
На развалины похож.
В поле дышит ароматно
Зеленеющая рожь.

Дождь прошел, дорога вязка,
Ночь прохладна и свежа.
Старомодная коляска
Прокатилась, дребезжа.

Я ушел сюда забыться
От удушливой весны.
В сердце ласково дробится
Отражение луны.

УТРОМ В ЛЕСУ

Графу Борису Бергу

Дышат свежею смолою
Лес, трава и небеса.
На проснувшуюся Хлою
Брызжет солнце и роса.

Птицы звонко распевают,
Завивает кольца хмель...
Словно влага ключевая,
Где-то плещется свирель.

Вспомни, Хлоя, день вчерашний,
В алом блеске — облака,
Засыпающие пашни,
Поцелуи пастушка.

Ты вчера едва узнала
Жар мальчишеской груди.
Улыбнися, разве мало
Поцелуев впереди!

* * *

Канарейка в некрашеной клетке,
Материнский портрет на стене.
По-весеннему голые ветки
Колыхаются в низком окне.

И чуть слышится гул ледохода...
...Я — свободен от грусти смешной.
Кто сказал, что такая свобода
Достается нелегкой ценой!

* * *

Я вспомнил тот фонтан. Его фонтаном слез
Поэты в старину и девы называли.
Но мне почудилось благоуханье роз
И отблеск янтаря на легком покрывале.

Блистательная ночь. Восточная луна.
В серале пленница, черкешенка младая,
Откинув занавес, в уныньи у окна
Следит, как водомет лепечет, ниспадая,

Лепечет и звенит о счастии тоски,
Которая, как ночь, блаженна и просторна,
И с розовой луны слетают голубки
Клевать холодные серебряные зерна.

•

* * *

Луна — как пенящийся кубок,
Среди летящих облаков.
Тоска томит не зло, не грубо,
Но легких не разбить оков.

Я пробовал — забыть томленье,
Портьерою закрыв луну,
Но знаю,— коль возьмусь на чтенье,—
Страницы не переверну.

Все помню: фонари на шторах...
Здесь — рот, глаза, дрожанье плеч
(И разноцветный писем ворох,
Напоминающий,— не сжечь!).

Вы где теперь — в Крыму ли, в Ницце!
Вы далеки от зимних пург,
А мне... мне каждой ночью снится
Ночной, морозный Петербург.

* * *

Еще с Адмиралтейскою иглой
Заря играет. Крашеные дамы
И юноши — милы и не упрямы,—
Скользя с тумане, темной дышат мглой.

Иду средь них, такой же, как они,
Развязен вид, и вовсе мне не дики
Нескромный галстук, красные гвоздики...
Приказываю глазу: «Подмигни».

Блестит вода за вычуром перил,
Вот — старый сноб со мной заговорил.
«Увы, сеньор,— моя специальность — дамы!»

Отходит он, ворча: «Какой упрямый!»
Но что скажу при встрече с дамой я? —
«Сударыня, специальность не моя!»

КИНЕМАТОГРАФ

Воображению достойное жилище,
Живей Террайля, пламенней Дюма!
О, сколько в нем разнообразной пищи
Для сердца нежного, для трезвого ума.

Разбойники невинность угнетают.
День загорается. Нисходит тьма.
На воздух ослепительно взлетают
Шестиэтажные огромные дома.

Седой залив отребья скал полощет.
Мир с дирижабля — пестрая канва.
Автомобили. Полисмены. Тещи.
Роскошны тропики, Гренландия мертва...

Да, здесь, на светлом трепетном экране,
Где жизни блеск подобен острию,
Двадцатый век, твой детский лепет ранний
Я с гордостью и дрожью узнаю.

Мир изумительный все чувства мне прельщает.
По полотну несущийся пестро,
И слабость собственная сердца не смущает:
Я здесь не гость. Я свой. Я уличный Пьеро.

ОЗЕРО

У озера все ясно и светло,
Там нет ни тайн, ни сказок, ни загадок.
Прозрачный воздух — радостен и сладок,
И водное незыблемо стекло.

Во всем разлит торжественный порядок,
Струится мысль в спокойное русло,
Днем не тревожит дерзкое весло
Сияния в воде дрожащих радуг.

Но в час, когда петух поет зарю
И ветер движет аромат рассвета,
Я — трепетом сомнения горю.

И верит мозг, что близится Комета,
Что все подвластно Черному Царю,
А озеро — зияющая Лета.

⟨1912?⟩

АКРОСТИХ ЛАРИСЕ РЕЙСНЕР

Любимы Вами и любимы мною,
Ах, с нежностью, которой равных нет,
Река, гранит, неверный полусвет
И всадник с устремленной вдаль рукою.

Свинцовый, фантастический рассвет
Сияет нам надеждой и тоскою,
Едва-едва над бледною рекою
Рисуется прекрасный силуэт...

Есть сны, царящие в душе навеки,
Их обаянье знаем я и Вы.
Счастливых стран сияющие реки

Нам не заменят сумрачной Невы,
Ее волны размеренного пенья,
Рождающего слезы вдохновенья.

* * *

Снега буреют, тая,
И трескается лед.
Пасхальная, святая
Неделя настает.

Весна еще в тумане,
Но знаем мы — близка...
Плывут и сердце манят
На волю облака.

И радуется Богу
Воскресшая земля.
И мне пора в дорогу,
В весенние поля.

Иконе чудотворной
Я земно поклонюсь...
Лежит мой путь просторный
Во всю честную Русь.

Лежит мой путь веселый,
На солнышке горя,
Чрез горы и сквозь села,
За синие моря.

Я стану слушать звоны
Святых монастырей,
Бить земные поклоны
У царских у дверей.

Но вольные вериги
Надежнее тюрьмы,—
Нет сил оставить книги,
Раздумья и псалмы.

Увы! — Из тесной кельи
Вовеки не уйти
К нетленному веселью
По светлому пути.

Но в душу наплывает
Забытое давно —
Гляжу, не уставая,
В высокое окно.

Светлеют дол, и речка,
И дальние снега,
А солнце, словно свечка
Святого четверга.

* * *

Люблю рассветное сиянье
Встречать в туманной синеве,
Когда с тяжелым грохотаньем
Несутся льдины по Неве.

Холодный ветер свищет в уши
С неизъяснимою мольбой...
Сквозь грохот, свист и сумрак глуше
Курантов отдаленный бой.

Облокотившись о перила,
С моста смотрю на ледоход,
И над осколками берилла
Встает пылающий восход!

Все шире крылья раскрывая,
Заря безмолвствует, ясна,—
А там, внизу, кипит живая,
Ледяная голубизна.

И брызги светлые взлетают
То в янтаре, то в серебре...
А на востоке тучи тают
И птицы тихо пролетают
Навстречу огненной заре.

* * *

Снастей и мачт узор железный,
Волнуешь сердце сладко ты,
Когда над сумрачною бездной,
Скрипя, разводятся мосты.

Люблю туман светло-зеленый,
Устоев визг, сирены вой,
Отяжелевшие колонны
Столетних зданий над Невой.

Скользят медлительные барки,
Часы показывают три...
Уже Адмиралтейства арки
Румянит первый луч зари;

Уже сверкает сумрак бледный
И глуше бьет в граниты вал...
Недаром, город заповедный,
Тебя Великий основал!

И ветры с Ладоги — недаром
Ломали звонкий невский лед —
Каким серебряным пожаром
Заря весенняя встает!

Светлеет небо над рекою,
Дробятся розы в хрустале,
И грозен с поднятой рукою
Летящий всадник на скале.

ПЕТРОГРАДСКИЕ ВОЛШЕБСТВА

Заря поблекла, и редеет
Янтарных облаков гряда,
Прозрачный воздух холодеет,
И глухо плещется вода.

Священный сумрак белой ночи!
Неумолкающий прибой!
И снова вечность смотрит в очи
Гранитным сфинксом над Невой.

Томящий ветер дышит снова,
Рождая смутные мечты,
И вдохновения былого,
Железный город, полон ты!

Дрожат в воде аквамарины,
Всплывает легкая луна...
И времена Екатерины
Напоминает тишина.

Колдует душу сумрак сонный,
И шепчет голубой туман,
Что Александровской колонны
Еще не создал Монферран.

И плющ забвения не завил
Блеск славы давней и живой...
...Быть может, цесаревич Павел
Теперь проходит над Невой!..

Восторга слезы — взор туманят,
Шаги далекие слышны...
Тоской о невозвратном — ранят
Воспоминанья старины.

А волны бьются в смутной страсти,
Восток становится светлей,
И вдалеке чернеют снасти
И силуэты кораблей.

У ПАМЯТНИКА ПЕТРА

Уже чугунную ограду
И сад в уборе сентября
Одела в дымную прохладу
Янтарно-алая заря.

Лучами красными одела
На финском камне тень Его.
И снизошла, и овладело
Столицей невской волшебство.

Колонны дряхлого Сената,
На дымном небе — провода,
В лучах холодного заката
И мост, и снасти, и вода.

Прислушайся к сирены вою
И к сердцу своему в груди!
Над Петроградом и Невою
В холодный сумрак погляди!

Какая тайна все объемлет,
Какой простор закрыла синь,
Какая сила выше дремлет
Среди гранитов и твердынь.

Безмолвны сфинксы над Невою,
Тускнеет пламени игра,
Но торжествует над змеею
Рука великого Петра.

И в сердце радость расцветает,
И верим утренней заре,
И все тревоги отлетают,
Как будто листья в сентябре.

* * *

Мороз и солнце, опять, опять.
Проснись скорее, довольно спать.
Ты видел осень в тревожном сне.
Проснись! Все было в минувшем дне.

Когда умолкнул столицы гул
И серый город во мгле заснул,
Свершилось чудо. Смотри, смотри —
Сугробы блещут в лучах зари.

Мы все грустили, томились все
О снежной, белой, святой красе.
Так трудно было вздохнуть порой,
И вот нагрянул веселый рой.

Ах, ты не видел, ты спал, когда
Зажглася в небе зимы звезда
И белый ангел сияньем крыл
Всю землю нежно засеребрил.

Простор морозный, и первый снег,
И в сердце радость нежданных нег.
Проснись скорее, довольно спать:
Зима и солнце пришли опять.

МЕЛОДИЯ

Опять, опять луна встает,
Как роза — в час урочный,
И снова о любви поет
Нам соловей восточный.

Пусть говорят, что радость — бред,
Мне не слышны угрозы.
Подумай: сколько тысяч лет
Благоухают розы!

Когда янтарный гаснет день,
На крае небосклона
Я снова вижу Сафо тень,
Целующей Фаона...

И снова дверь открыта мне
Серебряного рая,
И сладко грезить при луне,
Любя и умирая...

СТИХИ О ПЕТРОГРАДЕ

1

На небе осеннем фабричные трубы,
Косого дождя надоевшая сетка.
Здесь люди расчетливы, скупы и грубы,
И бледное солнце сияет так редко.

И только Нева в потемневшем граните,
Что плещется глухо, сверкает сурово,
Да старые зданья — последние нити
С прекрасным и стройным сияньем былого.

Сурово желтеют старинные зданья,
И кони над площадью смотрят сердито,
И плещутся волны, слагая преданья
О славе былого, о том, что забыто.

Да в час, когда запад оранжево-медный
Тускнеет, в туман погружая столицу,
Воспетый поэтами всадник победный
Глядит с осужденьем в бездушные лица.

О, город гранитный! Ты многое слышал,
И видел ты много и славы и горя,
Теперь только трубы да мокрые крыши,
Да плещет толпы бесконечное море.

И только поэтам, в былое влюбленным,
Известно Сезама заветное слово.
Им ночью глухою над городом сонным
Сияют туманные звезды былого...

2

Не время грозное Петра,
Не мощи царственной заветы
Меня пленяют, не пора
Державныя Елизаветы.

Но черный романтичный сон,
Тот страшный век, от крови алый.
...Безвинных оглашает стон
Застенков дымные подвалы.

И вижу я Тучков Буян
В лучах иной, бесславной славы,
Где герцог Бирон, кровью пьян,
Творил жестоко суд неправый.

Анна Иоанновна, а ты
В дворце своем не видишь крови,
Ты внемлешь шуму суеты,
Измену ловишь в каждом слове.

И вот, одна другой черней,
Мелькают мрачные картины,
Но там, за рядом злобных дней,
Уж близок век Екатерины.

Година славы! Твой приход
Воспели звонкие литавры.
Наяды в песне невских вод
Тебе несли морские лавры.

Потемкин гордый и Орлов,
И сердце русских войск — Суворов...
Пред ними бледен холод слов,
Ничтожно пламя разговоров!

Забыты, как мелькнувший сон,
И неудачи, и обиды.
Турецкий флот испепелен,
Под русский стягом — герб Тавриды.

А после — грозные года...
Наполеона — Саламандра
Померкла! Вспыхнула звезда
Победоносца Александра.

И здесь, над бледною Невой,
Неслись восторженные клики.
Толпа, портрет целуя твой,
Торжествовала день великий.

Гранитный город, на тебе
Мерцает отблеск увяданья...
Но столько есть в твоей судьбе
И черной ночи, и сиянья!

Пусть плещет вал сторожевой
Невы холодной мерным гимном,
За то, что стройный облик твой —
Как факел славы в небе дымном.

3

А люди проходят, а люди не видят,
О, город гранитный, твоей красоты,
И плещутся волны в напрасной обиде,
И бледное солнце глядит с высоты.

Но вечером дымным, когда за снастями
Закат поникает багровым крылом,
От камней старинными веет вестями
И ветер с залива поет о былом.

И тени мелькают на дряхлом граните,
Несутся кареты, спешат егери...
А в воздухе гасит последние нити
Холодное пламя осенней зари.

ВЕРХАРН

Мы все скользим над некой бездной,
Пока не наступает час...
Вот рок туманный и железный
Похитил лучшего из нас!

Блеснули тяжи и колеса,
По гладким рельсам пронеслись,
Да искры — золотые осы —
Снопом сияющим взвились.

Судьба ль шальная так хотела,
Чтоб в тихий сумеречный час
На полотно упало тело
Поэта — лучшего из нас?..

Или простой нелепый случай...
Не все ли нам равно — когда
Стих вдохновенный, стих певучий
Уже оборван навсегда!

Судьба поэта! Жребий сладкий —
Изведать мудрость, славу, страсть
И с гулкой поездной площадки
На рельсы черные упасть!

Нет, знаю я, не случай это
Слепой, без смысла и вины —
Судьба великого поэта,—
Судьба родной его страны.

Поля отчизны процветали,
Дыша и славя бытие,—
Ее железом растоптали
И кровью залили ее!

И поезд, что над славным телом
С тяжелым грохотом прошел,
Сияет перед миром целым,
Немой и горестный символ!

⟨*Конец 1916 г.*⟩

* * *

Когда впервые я услышал голос,
Такой простой и величавый вместе,
Вдруг потускнели зеркала в гостиной
И оборвался праздный разговор.

И я почуял словно моря рокот,
И сладкий шелест заповедной рощи,
И легкое шуршание сандалий
По золотому влажному песку...

Мгновенье было точно воздух горный.
Благоуханное, оно недолго длилось...
Вновь вспыхнула оранжевая лампа,
И в синих чашках задымился чай.

Но с той поры я вслушиваюсь жадно,
Когда звучат торжественные струны
Ее стихов, как будто повторяя:
«Сия скала... Тень Сафо... Говор волн!..»

Май 1917, Петербург

* * *

Пушкина, двадцатые годы,
Императора Николая
Это утро напоминает
Прелестью морозной погоды,

Очертаньями Летнего Сада
И легким полетом снежинок...
И поверить в это можно с первого взгляда,
Безо всяких ужимок.

Мог бы в двадцатых годах
Рисовать туманных красавиц,
Позабыв о своих летах,
Судейкин — и всем бы нравилось.

Конечно — автомобили,
Рельсы зеленой стали,
Ну, и тогда кататься любили,
А трамваи уже ходить перестали.

И мебель красного дерева,
Как и тогда, кажется красивой,
Как и тогда, мы бы поверили,
Что декабристы спасут Россию.

И, возвращаясь с лицейской пирушки,
Вспомнив строчку расстрелянного поэта,
Каждый бы подумал, как подумал Пушкин:
«Хорошо, что я не замешан в это».

⟨*1919?*⟩

* * *

Мы дышим предчувствием снега и первых морозов,
Осенней листвы золотая колышется пена,
А небо пустынно, и запад томительно розов,
Как нежные губы, что тронуты краской Дорэна.

Желанные губы подкрашены розой заката,
И душные волосы пахнут о скошенном сене...
С зеленой земли, где друг друга любили когда-то,
Мы снова вернулись сюда — неразлучные тени.

Шумят золотые пустынные рощи блаженных,
В стоячей воде отражается месяц Эреба,
И в душах печальная память о радостях пленных,
О вкусе земных поцелуев, и меда, и хлеба...

Сентябрь 1921

* * *

Вздохни, вздохни еще, чтоб душу взволновать,
Печаль моя! Мы в сумерках блуждаем
И, обреченные любить и умирать,
Так редко о любви и смерти вспоминаем.

Над нами утренний пустынный небосклон,
Холодный луч дробится по льду...
Печаль моя, ты слышишь слабый стон:
Тристан зовет свою Изольду.

Устанет арфа петь, устанет ветер звать,
И холод овладеет кровью...
Вздохни, вздохни еще, чтоб душу взволновать
Воспоминаньем и любовью.

Я умираю, друг! Моя душа черна,
И черный парус виден в море.
Я умираю, друг! Мне гибель суждена
В разувереньи и позоре.

Нам гибель суждена, и погибаем мы
За губы лживые, за солнце взора,
За этот свет, и лед, и розы, что из тьмы
Струит холодная Аврора...

* * *

Охотник веселый прицелится,
И падает птица к ногам,
И дым исчезающий стелется
По выцветшим низким лугам

Заря розовеет болотная,
И в синем дыму, не спеша,
Уносится в небо бесплотная,
Бездомная птичья душа.

А что в человеческой участи
Прекраснее участи птиц,
Помимо холодной певучести
Немногих заветных страниц?

⟨*Конец 1922 г.*⟩

* * *

Мы из каменных глыб создаем города,
Любим ясные мысли и точные числа,
И душе неприятно и странно, когда
Тянет ветер унылую песню без смысла

Или море шумит. Ни надежда, ни страсть,
Все, что дорого нам, в них не сыщет ответа.
Если ты человек — отрицай эту власть,
Подчини этот хор вдохновенью поэта.

И пора бы понять, что поэт не Орфей,
На пустом побережьи вздыхавший о тени,
А во фраке, с хлыстом, укротитель зверей
На залитой искусственным светом арене.

1922

* * *

Мы живем на круглой или плоской
Маленькой планете. Пьем. Едим.
И, затягиваясь папироской,
Иногда на небо поглядим.

Поглядим, и вдруг похолодеет
Сердце неизвестно отчего.
Из пространства синего повеет
Холодом и счастием в него.

Хочешь что-то вспомнить — нету мочи,
Тянешься — не достает рука...
Лишь ныряют в синих волнах ночи,
Как большие чайки, облака.

1922

РОЗА

Я в мире этом
Цвету и вяну,
Вечерним светом
Я скоро стану.

Дохну приветом
Полям и водам,
Прохладным летом,
Пчелиным медом.

И ты, прохожий,
Звался поэтом,
А будешь тоже
Вечерним светом.

Над тихим садом
Под ветром юга
Мы будем рядом,
Забыв друг друга.

1922

* * *

Прорезываются почки
(Как сыро в беседке),
Развертываются листочки
На оттаявшей ветке.

Во все закоулки сада
Тепло проникает,
И прошлогодняя падаль
Догнивать начинает.

Сладко нам в лучах серебристых,
Да и некуда деться...
Ничего, что сгнием так быстро,
Только б согреться.

1923

РАЗГОВОР

Грустно! Отчего Вам грустно,
Сердце бедное мое?
Оттого ли, что сегодня
Солнца нет и дождик льет?

Страшно? Отчего Вам страшно,
Бедная моя душа?
Оттого ли, что приходит
Осень, листьями шурша?

— Нет, погода как погода,
Но, наверно, веселей
Биться в смокинге банкира,
Чем скучать в груди твоей.

— Нет, но завтра, как сегодня,
И сегодня, как вчера,
Лучше б я была душою
Танцовщицы в Opéra.

— Так нетрудно, так несложно
Нашу вылечить тоску —
Так нетрудно в черный кофе
Всыпать дозу мышьяку.

— Я Вам очень благодарен
За практический совет.
Я не меньше Вас скучаю
Целых двадцать восемь лет.

1923

* * *

Это качается сосна
И убаюкивает слух.
Это последняя весна
Рассеивает первый пух.

Я жил, и стало грустно мне
Вдруг, неизвестно отчего.
Мне стало страшно в тишине
Биенья сердца моего.

1923

* * *

Мне грустно такими ночами,
Когда ни светло, ни темно,
И звезды косыми лучами
Внимательно смотрят в окно.

Глядят миллионные хоры
На мир, на меня, на кровать.
Напрасно задергивать шторы,
Не стоит глаза закрывать.

Глядят они в самое сердце,
Где усталость, и страх, и тоска.
И бьется несчастное сердце,
Как муха в сетях паука.

Когда же я стану поэтом
Настолько, чтоб все презирать,
Настолько, чтоб в холоде этом
Бесчувственным светом играть?

Март 1923

* * *

Как осужденные, потерянные души
Припоминают мир среди холодной тьмы,
Блаженней с каждым днем и с каждым часом глуше
Наш чудный Петербург припоминаем мы.

Быть может, города другие и прекрасны...
Но что они для нас! Нам не забыть, увы,
Как были счастливы, как были мы несчастны
В туманном городе на берегу Невы.

Май 1924

* * *

Если все, для чего мы росли,
И скучали, и плакали оба,
Будет кончено горстью земли
О поверхность соснового гроба,

Если новая жизнь, о душа,
Открывается в черной могиле,
Как должна быть она хороша,
Чтобы мы о земной позабыли.

* * *

Все тот же мир. Но скука входит
В пустое сердце, как игла,
Не потому, что жизнь проходит,
А потому, что жизнь прошла.

И хочется сказать — мир чуждый,
Исчезни с глаз моих скорей —
«Не искушай меня без нужды
Возвратом нежности твоей!»

⟨1924⟩

* * *

Мы только гости на пиру чужом,
Мы говорим: былому нет возврата.
Вздыхаем, улыбаемся и лжем,
«Глядя на луч пурпурного заката».

Былое... Та же скука и вино
Под тем же заревом банально-красным.
Какое счастье в нем погребено?
Зачем сердцам рисуется оно
Таким торжественным, печальным и прекрасным?

* * *

Еще мы говорим о славе, о искусстве
И ждем то лета, то зимы.
Сердцебиению бессмысленных предчувствий
Еще готовы верить мы.

Так, кончить с жизнию расчеты собираясь,
Игрок, лишившийся всего,
Последний золотой бросает, притворяясь,
Что горы денег у него.

* * *

Ужели все мечтать, ужели все надеяться,
И только для того,
Чтобы закрыть глаза и по ветру развеяться,
Не помня ничего.

И некому сказать, как это называется.
Еще шумит гроза,
Еще сияет день — но сами закрываются
Усталые глаза.

1923

* * *

Закрыта жарко печка,
Какой пустынный дом.
Под абажуром свечка,
Окошко подо льдом.

Я выдумал все это
И сам боюсь теперь,
Их нету, нету, нету.
Не верь. Не верь. Не верь.

Под старою сосною,
Где слабый звездный свет —
Не знаю: двое, трое
Или их вовсе нет.

В оцепененьи ночи —
Тик-так. Тик-так. Тик-так.
И вытекшие очи
Глядят в окрестный мрак.

На иней, иней, иней
(Или их вовсе нет),
На синий, синий, синий
Младенческий рассвет.

Март 1923

* * *

Забудут и отчаянье и нежность,
Забудут и блаженство и измену,—
Все скроет равнодушная небрежность
Других людей, пришедших нам на смену.

Жасмин в цвету. Забытая могила...
Сухой венок на ветре будет биться,
И небеса сиять: все это было,
И это никогда не повторится!

⟨*1925?*⟩

* * *

Сияет ночь, и парус голубеет,
И плещет море, жалобно шурша,
И, как в руках любовника, слабеет
Возлюбленная грустная душа.

Увы, она отлично знает цену
Его мольбам и счастью своему.
И все-таки — которую измену —
Который раз она простит ему.

За эти звездно-синие шелка,
За этот шепот страсти и печали —
Ложь, за которую во все века
Поэты и влюбленные прощали.

* * *

Я не хочу быть куклой восковой,
Добычей плесени, червей и тленья,
Я не хочу могильною травой
Из мрака пробиваться сквозь каменья.
Над белым кладбищем сирень цветет,
Над белым кладбищем заря застыла,
И я не вздрогну, если скажут: «Вот
Георгия Иванова могила...»
И если ты — о нет, я не хочу —
Придешь сюда, ты принесешь мне розы,
Ты будешь плакать — я не отличу
От ветра и дождя слова и слезы.

* * *

На старых могилах растут полевые цветы,
На нищих могилах стоят, покосившись, кресты,
И некому больше здесь горькие слезы ронять,
И бедной Жизель надмогильной плиты не поднять.

Мой милый, мой милый, о, как это было давно,
Сиял ресторан, и во льду зеленело вино,
И волны шумели всю ночь, и всю ночь напролет
Влюбленное сердце баюкал веселый фокстрот.

* * *

Скажи, мой друг, скажи
(Не надо лжи),
Скажи мне правду
Хоть раз один.

— Сказать я не могу,
Я все равно солгу —
Так приказал мне
Мой Господин.

Скажи, мой друг, скажи
(Не надо лжи),
Открой мне правду
О Нем хоть раз.

— О, если б я открыл,
Тебя бы ослепил
Блеск синих крыл
И черных глаз...

Декабрь 1926

* * *

Серебряный кораблик
На красных парусах
Качается, качается,
Качается в волнах.

Ютится у горы
Игрушечная гавань
Из камешков и раковин,
Из дерева и коры.

И голубой осколок
Бутылочного стекла —
Звезда взошла, звезда взошла,
Гляди — звезда взошла!

Ну что, как тебе нравится?
Вот так, повыше, стань:
Направо от нас Нормандия,
Налево от нас Бретань.

⟨1927?⟩

* * *

Угрозы ни к чему. Слезами не помочь.
Тревожный день погас, и наступила ночь.

Последний слабый луч, торжественно и бледно
Сиявший миг назад,— уже исчез бесследно.

Ночь — значит, надо спать. Кто знает — в
смутном сне,
Быть может, жизнь моя опять приснится мне.

И, сердце мертвое на миг заставив биться,
Наш первый поцелуй блаженно повторится.

⟨1927?⟩

* * *

Это только бессмысленный рай,
Только песен растерянный лад —
Задыхайся, душа, и сгорай,
Как закатные розы горят.

Задыхайся от нежных утрат
И сгорай от блаженных обид —
Это только сияющий ад,
Золотые сады Гесперид.

Это — над ледяною водой,
Это — сквозь холодеющий мрак —
Синей розой, печальной звездой
Погибающий светит маяк.

⟨1930?⟩

РАЗРОЗНЕННЫЕ СТРОФЫ (1930)

1

И нет и да. Блестит звезда.
Сто тысяч лет — все тот же свет.
Блестит звезда. Идут года,
Идут века, а счастья нет...

В печальном мире тишина,
В печальном мире, сквозь эфир,
Сквозь вечный лед, летит весна
С букетом роз — в печальный мир!

2

...Облетают белила, тускнеют румяна,
Догорает заря, отступают моря —
Опускайся на самое дно океана
Бесполезною, черною розой горя!

Все равно слишком поздно. Всегда слишком рано.
«Догорели огни, облетели цветы» —
Опускайся на дно мирового тумана,
В непроглядную ночь мировой пустоты.

3

Бессонница, которая нас мучит,
Бессонница, похожая на сон.
Бессмыслица, которая нас учит,
Что есть один закон — ее закон.

На бледном мареве абракадабры,
В мерцаньи фосфорического дна,
Больные рыбы раздувают жабры...

4

Черные ветки, шум океана,
Звезды такие, что больно смотреть,
Все это значит — поздно иль рано
Надо и нам умереть...

5

Райской музыкой, грустной весной,
Тишиной ты встаешь надо мной.

Твой торжественный шаг узнаю,
Вижу черную славу твою,
Узнаю твой блаженный полет,
Стосаженный, сквозь розы и лед!..

6

В совершенной пустоте,
В абсолютной черноте —
Так же веет ветер свежий,
Так же дышат розы те же...

Те же, да не те.

⟨*1930*⟩

* * *

Мир торжественный и томный —
Вот и твой последний час.
Догорай, пожар огромный,
Догорай без нас.

Мы уходим в вечность, в млечность
Звезд, сиявших зря,
Нас уводит в бесконечность
Черно-желтая заря.

И потерянный, бездомный
Не оглянется назад.
— Догорай, пожар огромный!
И не дрогнет факел темный,
Освещая ад.

⟨1930—1932?⟩

* * *

Гаснет мир. Сияет вечер.
Паруса. Шумят леса.
Человеческие речи,
Ангельские голоса.

Человеческое горе,
Ангельское торжество...
Только звезды. Только море.
Только. Больше ничего.

Без числа, сияют свечи.
Слаще мгла. Колокола.
Черным бархатом на плечи
Вечность звездная легла.

Тише... Это жизнь уходит,
Все любя и все губя.
Слышишь? Это ночь уводит
В вечность звездную тебя.

⟨*1931—1932?*⟩

* * *

Я люблю эти снежные горы
На краю мировой пустоты.
Я люблю эти синие взоры,
Где, как свет, отражаешься ты.
Но в бессмысленной этой отчизне
Я понять ничего не могу.
Только призраки молят о жизни;
Только розы цветут на снегу,
Только линия вьется кривая,
Торжествуя над снежно-прямой,
И шумит чепуха мировая,
Ударяясь в гранит мировой.

⟨1932?⟩

* * *

Обледенелые миры
Пронизывает боль тупая...
Известны правила игры.
Живи, от них не отступая:
Направо — тьма, налево — свет,
Над ними время и пространство.
Расчисленное постоянство...
А дальше?
        Музыка и бред.
Дохнула бездна голубая,
Меж тем и этим — рвется связь,
И обреченный, погибая,
Летит, орбиту огибая,
В метафизическую грязь.

⟨1932?⟩

ЯМБЫ

1

Как туча, стала Иудея
И отвернулась от Христа...

Надменно кривятся уста,
И души стынут, холодея.
Нет ясной цели. Пустота.

А там — над Римом — сумрак млечный —
Ни жизнь ни смерть. Ни свет ни тьма.
Как музыка или чума,
Торжественно-бесчеловечный...

2

Все до конца переменилось,
Все ново для прозревших глаз.
Одним поэтам — в сотый раз —
Приснится то, что вечно снилось.

Но в мире новые законы,
И боги жертвы не хотят.
Напрасно в пустоту летят
Орфея жалобные стоны —

Их остановят электроны
И снова в душу возвратят.

⟨1933?⟩

* * *

Она летит, весна чужая,
Она поет, весна.
Она несется, обнажая
Глухие корни сна.

И ты ее, покойник храбрый,
Простишь иль не простишь —
Подхвачен солнечною шваброй,
В канаву полетишь.

И как простить? Она чужая,
Она, дитя зимы,
Летит, поет, уничтожая
Все, что любили мы.

1944—1945, Биарриц

* * *

Видишь мост? За этим мостом
Есть тропинка в лесу густом.
Если хочешь — иди по ней
Много тысяч ночей и дней.
Будешь есть чернику и мох,
Будут ноги твои в крови —
Но зато твой последний вздох
Долетит до твоей любви.

Видишь дом? Это дом такой,
Где устали ждать покой,
Тихий дом из синего льда,
Где цветут левкои всегда.
...Поглядишь с балкона на юг,
Мост увидишь и дальний лес,
И не вспомнишь даже, мой друг,
Что твой свет навсегда исчез.

1946

* * *

Собиратели марок, эстеты,
Рыболовы с Великой реки,
Чемпионы вечерней газеты,
Футболисты, биржевики;

Все, кто ходят в кино и театры,
Все, кто ездят в метро и в такси;
Хочешь, чучело, нос Клеопатры?
Хочешь быть Муссолини? — Проси!

И просили, и получали,
Только мы почему-то с тобой
Не словчились, не перекричали
В утомительной схватке с судьбой.

1948

* * *

Ты протягиваешь руку —
Вот она, твоя рука.
За свиданье, за разлуку,
За мгновенье, за века.

Нас никто не пожалеет,
А себя жалеть смешно.
Звезды гаснут, день белеет
Сквозь закрытое окно.

Распахни его пошире
Или шторы опусти:
За свиданье в этом мире
Или вечное прости.

⟨1940-е годы⟩

* * *

Уплывает в море рыбачий челнок,
Разбивается пена у ног,

Темные ветки в закатном огне
Кивнули доверчиво мне.

И птица запела о чем-то своем,
О чем и мы, под сурдинку, поем,
Когда грустить устаем:

О том, что счастье длится века
И только жизнь коротка,
И мы напрасно тоскуем о том,
О чем забудем потом.

⟨1940-е годы⟩

* * *

Я не знал никогда ни любви, ни участья.
Объясни — что такое хваленое счастье,
О котором поэты толкуют века?
Постараюсь, хотя это здорово трудно:
Как слепому расскажешь о цвете цветка,
Что в нем ало, что розово, что изумрудно?

Счастье — это глухая, ночная река,
По которой плывем мы, пока не утонем,
На обманчивый свет огонька, светляка...
Или вот:
        У всего на земле есть синоним,
Патентованный ключ для любого замка —
Ледяное, волшебное слово: Тоска.

1950

* * *

С пышно развевающимся флагом,
Точно броненосец по волнам,
Точно робот, отвлеченным шагом,
Музыка пошла навстречу нам.

Неохотно, не спеша, не сразу,
Прозревая, но еще слепа,—
Повинуется ее приказу
Чинно разодетая толпа.

Все спокойно. Декольте и фраки
Сдержанно, как на большом балу,
Слушают в прозрачном полумраке
Смерти и бессмертию хвалу.

Только в ложе молодая дама
Вздрогнула — и что-то поняла.
Поздно... Мертвые не имут срама
И не знают ни добра, ни зла!

Поздно... Слейся с мировою болью.
Страшно жить, страшнее умереть...
Холодно. И шубкою собольей
Зябнущего сердца не согреть.

1950

СТАНСЫ

Родная моя земля,— за что тебя погубили?

Зинаида Гиппиус

I

Судьба одних была страшна,
Судьба других была блестяща.
И осеняла всех одна
России сказочная чаща.

Но Император сходит с трона,
Прощая все, со всем простясь,
И меркнет Русская корона,
В февральскую скатившись грязь.

...Двухсотмиллионная Россия,—
«Рай пролетарского труда»,
Благоухает борода
У патриарха Алексия.

Погоны светятся, как встарь,
На каждом красном командире,
И на кремлевском троне «царь»
В коммунистическом мундире.

...Протест, сегодня бесполезный,—
Победы завтрашней залог!
Стучите в занавес железный,
Кричите: «Да воскреснет Бог!»

II

...И вот лежит на пышном пьедестале,
Меж красных звезд, в сияющем гробу,
«Великий из великих» — Оська Сталин,
Всех цезарей превозойдя судьбу.

А перед ним в почетном карауле
Стоят народа меньшие «отцы»,
Те, что страну в бараний рог согнули,—
Еще вожди, но тоже мертвецы.

Какие отвратительные рожи,
Кривые рты, нескладные тела:
Вот Молотов. Вот Берия, похожий
На вурдалака, ждущего кола...

В безмолвии у сталинского праха
Они дрожат. Они дрожат от страха,
Угрюмо пряча некрещеный лоб,—
И перед ними высится, как плаха,
Проклятого «вождя» — проклятый гроб.

1953

* * *

На один восхитительный миг,
Словно отблеск заката-рассвета,
Словно чайки серебряный крик,
Мне однажды почудилось это.
Просияла — как счастье во сне —
Невозможная встреча-прощанье —
То, что было обещано мне,
То, в чем Бог не сдержал обещанья.

1952

* * *

Но черемуха услышит
И на дне морском простит...

О. Мандельштам

Это было утром рано
Или было поздно вечером
(Может быть, и вовсе не было).

Фиолетовое небо
И, за просиявшим глетчером,
Черный рокот океана.

...Без прицела и без промаха,
А потом домой шажком...

И оглохшая черемуха
Не простит на дне морском!

〈*1953?*〉

* * *

Как тридцать лет тому назад,
Как тридцать пять, возможно, сорок,
Я заглянул в твой сонный сад,
Царица апельсинных корок,

Царица лунной шелухи,
Сердец, которые не бьются,
Где только мучатся стихи
И никогда не создаются.

И все не разрешен вопрос,
Один из вечных и напрасных:
Что слаще — запах красных роз
Иль шорох туфелек атласных?

⟨1953?⟩

* * *

История. Время. Пространство.
Людские слова и дела.
Полвека войны. Христианства
Двухтысячелетняя мгла.

Пора бы и угомониться...
Но думает каждый: постой,
А, может быть, мне и приснится
Бессмертия сон золотой!

1954

* * *

Мимозы солнечные ветки
Грустят в неоновом чаду,
Хрустят карминные креветки,
Вино туманится во льду.

Все это было, было, было...
Все это будет, будет, бу...

Как знать? Судьба нас невзлюбила?
Иль мы обставили судьбу?

И без лакейского почету
Смываемся из мира бед,
Так и не заплатив по счету
За недоеденный обед.

1955

* * *

Паспорт мой сгорел когда-то
В буреломе русских бед.
Он теперь дымок заката,
Шорох леса, лунный свет.

Он давно в помойной яме
Мирового горя сгнил,
И теперь скользит с ручьями
В полноводный, вечный Нил.

Для непомнящих Иванов,
Не имеющих родства,
Все равно, какой Иванов,
Безразлично — трын-трава.

. . . .

Красный флаг или трехцветный?
Божья воля или рок?
Не ответит безответный
Предрассветный ветерок.

〈1955?〉

ПЕЙЗАЖ

Перекисью водорода
Обесцвечена природа.

Догорают хризантемы
(Отголосок старой темы).

Отголосок песни старой —
Под луной Пьеро с гитарой...

Всюду драма. Всюду убыль.
Справа Сомов. Слева Врубель.

И, по самой серединке,
Кит, дошедший до сардинки.

Отощавший, обнищавший,
Сколько в прошлом обещавший!

В — до чего далеком — прошлом,
То ли звездном, то ли пошлом.

1955

* * *

Истории зловещий трюм,
Где наши поколенья маются,
Откуда наш шурум-бурум
К вершинам жизни поднимается,

И там на девственном снегу
Ложится черным слоем копоти...
«Довольно! Больше не могу!» —
Поставьте к стенке и ухлопайте!

1955

* * *

Жизнь продолжается рассудку вопреки.
На южном солнышке болтают старики:
— Московские балы... Симбирская погода...
Великая война... Керенская свобода...
И — скоро сорок лет у Франции в гостях.

Жужжанье в черепах и холодок в костях.
— Масонский заговор... Особенно евреи...
Печатались? А где? В каком Гиперборее?

...На мутном солнышке покой и благодать,
Они надеются, уже недолго ждать —
Воскреснет твердый знак, вернется ять с фитою
И засияет жизнь эпохой золотою.

1955

* * *

Слава, императорские троны,
Все о них грустящие тайком —
Задаетесь вы на макароны,
Говоря вульгарным языком.

Что мечтать-то? Отшумели годы,
Сны исчезли, сгнили мертвецы.
Но, пожалуй, рыцари свободы,
Те еще отчаянней глупцы:

Снится им — из пустоты вселенской,
Заново (и сладко на душе)
Выгарцует эдакий Керенский
На кобыле из папье-маше.

Чтобы снова головы бараньи
Ожидали бы наверняка
В новом Учредительном собраньи
Плети нового Железняка.

⟨*1955?*⟩

* * *

Памяти провалы и пустоты.
Я живу... Но как же так? Постой...
...Чайка ловко ловит нечистоты
Из волны лазурно-золотой.

Проглотив какую-нибудь пакость,
Весело взлетает в синеву...
Малоутешительно — однако
Никаких сомнений — я живу!

1956

* * *

Никому я не враг и не друг.
Не люблю расцветающих роз.
Не люблю ни восторгов, ни мук,
Не люблю ни улыбок, ни слез.

А люблю только то, что цвело,
Отцвело и быльем поросло,
И томится теперь где-то там
По его обманувшим мечтам.

1956

* * *

Построили и разорили Трою,
Построили и разорят Париж.
Что нужно человеку — не герою —
На склоне?.. Элегическая тишь.

Так почему все с большим напряженьем
Я жизнь люблю — чужую и свою,—
Взволнован ею, как солдат сраженьем,
Которое окончится вничью.

1956

* * *

Кавалергардский или Конный полк —
Литавры, трубы, боевая слава,
Простреленных штандартов дряхлый шелк,
Ура... Урра!.. Равнение направо!..
И Государь, в сияньи, на коне...
Кругом ни шороха, ни дуновенья...

...Так издали рисуются — не мне! —
Империи последние мгновенья.

1956

* * *

Повторяются дождик и снег,
Повторяются нежность и грусть,
То, что знает любой человек,
Что известно ему наизусть.

И, сквозь призраки русских берез,
Левитановски ясный покой
Повторяет все тот же вопрос:
«Как дошел ты до жизни такой?»

1956

* * *

И сорок лет спустя мы спорим,
Кто виноват и почему.
Так в страшный час над Черным морем
Россия рухнула во тьму.

Гостинодворцы, царедворцы
Во всю старались рысь и прыть;
Безмолвствовали чудотворцы,
Не в силах чуда совершить.

И начался героев-нищих
Голгофский путь и торжество,
Непримиримость все простивших,
Не позабывших ничего.

⟨1956?⟩

* * *

Стонет океан арктический,
Зреют кисти винограда...
И презренный ум практический
В мире — высшая услада.

И плывет недоумение
Вечно к Западу, к Востоку:
— Ну, раздай свое имение.
— Ну, подставь вторую щеку.

* * *

Упал крестоносец средь копий и дыма,
Упал, не увидев Иерусалима.

У сердца прижата стальная перчатка,
И на ухо шепчет ему лихорадка:

— Зароют, зароют в глубокую яму,
Забудешь, забудешь Прекрасную Даму.

Глаза голубые, жемчужные плечи...
И львиное сердце дрожит как овечье.

А шепот слышнее: — Ответь на вопросец:
Не ты ли о славе мечтал, крестоносец,
О подвиге бранном, о битве кровавой?
Так вот, умирай же, увенчанный славой!

⟨1924—1958⟩

* * *

Все на свете очень сложно,
И всего сложнее мы,
Недоступно, невозможно,
Кроме музыки и тьмы,
Снов, изгнанья и сумы.

Все на свете очень просто,
Да и мы совсем просты —
Как могильные кресты,
Как ослиные хвосты —
Досчитай, не сбившись, до ста
В звонком мире суеты.

И тогда, что пожелаешь,
Все твое — и то, и то!
Только нет, не досчитаешь,
Как не досчитал никто —
Девяносто девять, сто.

⟨1936—1958⟩

* * *

Прозрачная ущербная луна
Сияет неизбежностью разлуки.
Взлетает к небу музыки волна,
Тоской звенящей рассыпая звуки.

— Прощай... И скрипка падает из рук.
Прощай, мой друг!.. И музыка смолкает.
Жизнь размыкает на мгновенье круг
И наново, навеки замыкает.

И снова музыка летит, звеня.
Но нет! Не так, как прежде,— без меня.

⟨*1936—1958*⟩

I

Александр Сергеевич, я о вас скучаю.
С вами посидеть бы, с вами б выпить чаю.
Вы бы говорили, я б, развесив уши,
Слушал бы да слушал.

Вы мне все роднее, вы мне все дороже.
Александр Сергеевич, вам пришлось ведь тоже
Захлебнуться горем, злиться, презирать,
Вам пришлось ведь тоже трудно умирать.

II

Кошка крадется по светлой дорожке,
Много ли горя в кошачьей судьбе?
Думать об этой обмызганной кошке
Или о розах. Забыть о себе.

Вечер июльский томительно душен.
Небо в окне, как персидская шаль.
Даже к тебе я почти равнодушен.
Даже тебя мне почти уж не жаль.

III

Я жил как будто бы в тумане,
Я жил как будто бы во сне,
В мечтах, в трансцендентальном плане,
И вот пришлось проснуться мне.

Проснуться, чтоб увидеть ужас,
Чудовищность моей судьбы.
...О русском снеге, русской стуже...
Ах, если б, если б... да кабы...

IV

Мне уж не придется впредь
Чистить зубы, щеки брить.
«Перед тем, как умереть,
Надо же поговорить».

В вечность распахнулась дверь,
И «пора, мой друг, пора!»...
Просветлиться бы теперь,
Жизни прокричать ура!

Стариковски помудреть,
С миром душу примирить...
...Перед тем, как умереть,
Не о чем мне говорить.

V

В громе ваших барабанов
Я сторонкой проходил —
В стадо золотых баранов
Не попал. Не угодил.

А хотелось, не скрываю,—
Слава, деньги и почет.
В каторге я изнываю,
Черным дням ведя подсчет.

Сколько их еще до смерти —
Три или четыре дня?
Ну, а все-таки, поверьте,
Вспомните и вы меня.

VI

А может быть, еще и не конец?
Терновый мученический венец
Еще мой мертвый не украсит лоб
И в fosse commune мой нищий ящик-гроб
Не сбросят в этом богомерзком Йере.

Могу ж я помечтать, по крайней мере,
Что я еще лет десять проживу.
Свою страну увижу наяву —
Нева и Волга, Невский и Арбат —
И буду я прославлен и богат,
Своей страны любимейший поэт...

Вздор! Ерунда! Ведь я давно отпет.
На что надеяться, о чем мечтать?
Я даже не могу с кровати встать.

VII

Воскресенье. Удушья прилив и отлив,
Стал я как-то не в меру бесстыдно болтлив.

Мне все хочется что-то свое досказать,
Объяснить, уточнить, разъяснить, доказать.

Мне с читателем хочется поговорить,
Всех, кто мне помогали — поблагодарить.

Есть такие прекрасные люди средь вас.
Им земной мой поклон в предпоследний мой час.

VIII

Ку-ку-реку или бре-ке-ке?
Крыса в груди или жаба в руке?

Можно о розах, можно о пне.
Можно о том, что неможется мне.

Ну, и так далее. И потому,
Ангел мой, зла не желай никому.

Бедный мой ангел, прощай и прости!..
Дальше с тобою мне не по пути.

IX

Аспазия, всегда Аспазия,
Красивая до безобразия —
И ни на грош разнообразия.

А кто она такая?..
И кто такая Навзикая?..

Себя зевотой развлекая,
Лежу, как зверь больной, в берлоге я —
История и мифология.

А за окошком нудь и муть,
Хотелось бы и мне уснуть.
Нельзя — бессонница терзает.

Вот елочка, а вот и белочка,
Из-за сугроба вылезает,
Глядит немного оробелочка,
Орешки продает в кредит
И по ночам прилежно спит.

X

Ночь, как Сахара, как ад, горяча.
Дымный рассвет. Полыхает свеча.
Вот начертил на блокнотном листке
Я Размахайчика в черном венке,
Лапки и хвостика тонкая нить...

«В смерти моей никого не винить».

XI

Ночных часов тяжелый рой.
Лежу измученный жарой
И снами, что уже не сны.
Из раскаленной тишины
Вдруг раздается хрупкий плач.

Кто плачет так? И почему?
Я вглядываюсь в злую тьму
И понимаю не спеша,
Что плачет так моя душа
От жалости и страха.
—Не надо. Нет, не плачь.
...О, если бы с размаха
Мне голову палач!

XII

На барабане б мне прогреметь —
Само-убийство.
                                        О, если б посметь!
Если бы сил океанский прилив!
Друга, врага, да и прочих простив.
Без барабана. И вовсе не злой.
Узкою бритвой иль скользкой петлей.
— Страшно?.. А ты говорил — развлечение.
Видишь, дружок, как меняется мнение.

XIII

Дымные пятна соседних окон,
Розы под ветром вздыхают и гнутся.
Если б поверить, что жизнь это сон,
Что после смерти нельзя не проснуться.

Будет в раю — рай совсем голубой —
Ждать так прохладно, блаженно-беспечно
И никогда не расстаться с тобой!
Вечно с тобой. Понимаешь ли? Вечно...

XIV

Меня уносит океан
То к Петербургу, то к Парижу.
В ушах тимпан, в глазах туман,
Сквозь них я слушаю и вижу —

Сияет соловьями ночь,
И звезды, как снежинки, тают,
И души — им нельзя помочь —
Со стоном улетают прочь,
Со стоном в вечность улетают.

XV

Зачем, как шальные, свистят соловьи
Всю южную ночь до рассвета?
Зачем драгоценные плечи твои...
Зачем?.. Но не будет ответа.

Не будет ответа на вечный вопрос
О смерти, любви и страданьи,
Но вместо ответа над ворохом роз,
Омытое ливнями звуков и слез,
        Сияет воспоминанье
О том, чем я вовсе и не дорожил,
Когда на земле я томился. И жил.

XVI

Все розы увяли. И пальма замерзла.
По мертвому саду я тихо иду
И слышу, как в небе по азбуке Морзе
Звезда выкликает звезду,
И мне — а не ей — обещает беду.

XVII

В зеркале сутулый, тощий,
Складки у бессонных глаз.
Это все гораздо проще,
Будничнее во сто раз.

Будничнее и беднее —
Зноен опаленный сад,
Дно зеркальное. На дне. И
Никаких путей назад.

Я уже спустился в ад.

XVIII

«Побрили Кикапу в последний раз,
Помыли Кикапу в последний раз!
Волос и крови полный таз,
Да-с».

Не так... Забыл... Но Кикапу
Меня бессмысленно тревожит,
Он больше ничего не может,
Как умереть. Висит в шкапу —
Не он висит, а мой пиджак —
И все не то, и все не так.

Да и при чем бы тут кровавый таз?
«Побрили Кикапу в последний раз...»

XIX

Было все — и тюрьма и сума,
В обладании полном ума,
В обладании полном таланта,
С распроклятой судьбой эмигранта
Умираю...

XX

Пароходы в море тонут,
Опускаются на дно.
Им в междупланетный омут
Окунуться не дано.

Сухо шелестит омела,
Тянет вечностью с планет...
И кому какое дело,
Что меня на свете нет?

XXI

В ветвях олеандровых трель соловья.
Калитка захлопнулась с жалобным стуком.
Луна закатилась за тучи. А я
Кончаю земное хожденье по мукам,

Хожденье по мукам, что видел во сне —
С изгнаньем, любовью к тебе и грехами.
Но я не забыл, что обещано мне
Воскреснуть. Вернуться в Россию — стихами.

XXII

...И Леонид под Фермопилами,
Конечно, умер и за них.

Строка за строкой. Тоска. Облака.
Луна освещает приморские дали.
Бессильно лежит восковая рука
В сиянии лунном, на одеяле.
Удушливый вечер бессмысленно пуст,
Вот так же, в мученьях дойдя до предела,
Вот так же, как я, умирающий Пруст
Писал, задыхаясь. Какое мне дело
До Пруста и смерти его? Надоело!
Я знать не хочу ничего, никого!

...Московские елочки,
Снег. Рождество.
И вечер,— по-русскому,— ласков и тих...
«И голубые комсомолочки...»
«Должно быть, умер и за них».

XXIII

Из спальни уносят лампу,
Но через пять минут
На тоненькой ножке
Лампа снова тут.

Как луна из тумана,
Так легка и бела,
И маленькая обезьяна
Спускается с потолка.

Серая обезьянка,
Мордочка с кулачок,
На спине шарманка,
На голове колпачок.

Садится и медленно крутит ручку
Старой, скрипучей шарманки своей,
И непонятная песня
Баюкает спящих детей:

«Из холода, снега и льда
Зимой расцветают цветы,
Весной цветы облетают
И дети легко умирают.
И чайки летят туда,
Где вечно цветут кресты
На холмиках детских могилок,
Детей, убежавших в рай...»

О, пой еще, обезьянка!
Шарманка, играй, играй!

XXIV

А что такое вдохновенье?
— Так... Неожиданно, слегка
Сияющее дуновенье
Божественного ветерка.

Над кипарисом в сонном парке
Взмахнет крылами Азраил —
И Тютчев пишет без помарки:
«Оратор римский говорил...»

XXV

Вас осуждать бы стал с какой же стати я
За то, что мне не повезло?
Уже давно пора забыть понятия:
Добро и зло.

Меня вы не спасли. По-своему вы правы.
— Какой-то там поэт...
Ведь до поэзии, до вечной русской славы
Вам дела нет.

XXVI

За столько лет такого маянья
По городам чужой земли
Есть от чего прийти в отчаянье,
И мы в отчаянье пришли.

— В отчаянье, в приют последний,
Как будто мы пришли зимой
С вечерни в церковке соседней,
По снегу русскому, домой.

XXVII

До нелепости смешно
Так бесславно умереть,
Дать себя с земли стереть,
Как чернильное пятно!

Ну а все же след чернил,
Разведенных кровью,—
Как склонялся Азраил
Ночью к изголовью,

О мечтах и о грехах,
Странствиях по мукам —
Обнаружится в стихах
В назиданье внукам.

XXVIII

Отчаянье я превратил в игру —
О чем вздыхать и плакать, в самом деле?
Ну, не забавно ли, что я умру
Не позже, чем на будущей неделе?

Умру — хотя еще прожить я мог
Лет десять иль, пожалуй, даже двадцать.

Никто не пожалел. И не помог.
И вот приходится смываться.

⟨*Август 1958 г.*⟩

XXIX

Для голодных собак понедельник,
А для прочего общества вторник.
И гуляет с метелкой бездельник,
Называется в вечности дворник.

Если некуда больше податься
И никак не добраться домой,
Так давай же шутить и смеяться,
Понедельничный песик ты мой.

⟨Август 1958 г.⟩

XXX

Теперь бы чуточку беспечности,
Взглянуть на Павловск из окна.
А рассуждения о вечности...
Да и кому она нужна?

Не избежать мне неизбежности,
Но в блеске августовского дня
Мне хочется немного нежности
От ненавидящих меня.

⟨Август 1958 г.⟩

XXXI

Вечер. Может быть, последний
Пустозвонный вечер мой.
Я давно топчусь в передней —
Мне давно пора домой.

В горле тошнотворный шарик,
Смерти вкус на языке,
Электрический фонарик,
Как звезда, горит в руке.

Как звезда, что мне светила,
Путеводно предала,
Предала и утопила
В Средиземных волнах зла.

⟨Август 1958 г.⟩

XXXII

Вот елочка. А вот и белочка
Из-за сугроба вылезает,
Глядит, немного оробелочка,
И ничего не понимает, —
Ну абсолютно ничего.

Сверкают свечечки на елочке,
Блестят орешки золотые,
И в шубках новеньких с иголочки
Собрались жители лесные
Справлять достойно Рождество:
Лисицы, волки, медвежата,
Куницы, лоси остророгие
И прочие четвероногие.

...А белочка ушла куда-то,
Ушла куда глаза глядят,
Куда Макар гонял телят,
Откуда нет пути назад,
Откуда нет возврата.

⟨1958⟩

XXXIII

Если б время остановить,
Чтобы день увеличился вдвое,
Перед смертью благословить
Всех живущих и все живое.

И у тех, кто обидел меня,
Попросить смиренно прощенья,
Чтобы вспыхнуло пламя огня
Милосердия и очищенья.

XXXIV

Ликование вечной, блаженной весны,
Упоительные соловьиные трели
И магический блеск средиземной луны
Головокружительно мне надоели.

Даже больше того. И совсем я не здесь,
Не на юге, а в северной царской столице.
Там остался я жить. Настоящий. Я — весь.
Эмигрантская быль мне всего только снится —
И Берлин, и Париж, и постылая Ницца.

...Зимний день. Петербург. С Гумилевым вдвоем,
Вдоль замерзшей Невы, как по берегу Леты,
Мы спокойно, классически просто идем,
Как попарно когда-то ходили поэты.

XXXV

Бороться против неизбежности
И злой судьбы мне не дано.
О, если б мне немного нежности
И вид на «Царское» в окно —
На солнечную ту аллею,
Ту, по которой ты пришла.
Я даже вспоминать не смею,
Какой прелестной ты была
С большой охапкою сирени.
Вся в белом, в белых башмаках,
Как за тобой струились тени
И ветра ласковый размах
Играл твоими волосами
И теребил твой черный бант...

— Но объясни, что стало с нами
И отчего я эмигрант?

XXXVI

В небе нежно тают облака:
Все обдумано и все понятно.
Если б не бессонная тоска.
Здесь бы мне жилось почти приятно
И спокойно очень. Поутру
Вкусно выпить кофе, прогуляться
И, затеяв сам с собой игру.
Средь мимоз и пальм мечтам предаться,
Чувствуя себя — вот здесь — в саду,
Как портрет без сходства в пышной раме...

Если бы забыть, что я иду
К смерти семимильными шагами.

XXXVII

Во сне я думаю о разном,
Но больше все о безобразном,
О том, что лучше промолчать,
Когда вам нечего сказать,

Что помнить следует об этом
Зря разболтавшимся поэтам.

XXXVIII

Поговори со мной еще немного,
Не засыпай до утренней зари.
Уже кончается моя дорога,
О, говори со мною, говори!

Пускай прелестных звуков столкновенье,
Картавый, легкий голос твой
Преобразят стихотворенье
Последнее, написанное мной.

⟨Август 1958 г.⟩

КОММЕНТАРИИ

В настоящем собрании сочинений творчество Георгия Иванова представлено во всем его жанровом многообразии. В первый том входят поэтические произведения. Во второй — «Распад атома», роман «Третий Рим», рассказы и произведения исторического и очеркового характера. В третий — «Петербургские зимы», примыкающий к ним цикл псевдомемуарных очерков «Китайские тени», ряд фрагментов того же жанра, а также критические статьи о современной Г. Иванову литературе.

В первом томе предпринята попытка реконструкции неосуществленного замысла Г. Иванова — его «Собрания стихотворений»; первые три части этого собрания составляют три книги, изданные поэтом в начале 1920-х годов в Берлине: «Лампада», «Вереск», «Сады». Тексты стихотворений, вошедших в берлинское избранное «Отплытие на остров Цитеру», но подвергшихся авторской переработке, печатаются по более поздней редакции. Отсутствуют стихотворения из сборников 1911/1912—1916 годов, исключенные автором из «итоговых книг» петербургского периода; некоторые стихотворения, не печатавшиеся в книгах Г. Иванова никогда, а известные лишь по публикациям в периодике или по автографам, объединены в раздел «Стихотворения, не входившие в прижизненные сборники».

В издании сохранены авторские орфография и пунктуация в тех случаях, где они носят принципиальный для Г. Иванова характер.

Научная редакция комментария во всех трех томах осуществлена Е. Витковским.

Особую благодарность составители и комментаторы приносят вдове поэта Ирине Владимировне Одоевцевой (1895?—1990), неизменно консультировавшей их в процессе подготовки данного издания. Составитель и комментатор первого тома приносят отдельную благодарность Вадиму Крейду, профессору Университета Айова-сити (США), соавтору по аналогичной работе над вторым и третьим томами, ибо его многолетняя работа по изучению творчества Георгия Иванова была максимально учтена и при подготовке первого тома.

Мы благодарим также всех, кто оказал помощь в работе над изданием: А. Баденкова, Н. Богомолова, А. Борисяка, С. Бочарова, Л. Быховскую, В. Валентино, Л. Володарскую, Т. Герцык-Жуковскую, А. Давидсона, Ю. Иваска, О. Кольцову, Л. Лисица, Н. Мальцеву, В. Молодякова, Т. Мосешвили, П. Нерлера, В. Перельмутера, В. Перелешина, Е. Рейна, А. Савина, Л. Садыги, В. Сечкарева, Р. Тименчика, А. Триуса, Л. Турчинского, В. Успенского, Е. Фураеву, И. Хабарова, Я.-П. Хинрихса, М. Шаповалова, А. Щуплова.

СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Книги Г. Иванова

В-1 — «Вереск». Вторая книга стихов. М.— Пг., «Альциона», 1916.
В-2 — «Вереск». Вторая книга стихов. Изд. 2-е. Берлин — Петербург — Москва, Изд-во З. И. Гржебина, 1923.
Г — «Горница». Книга стихов. СПб., «Гиперборей», 1914.
ГИИ — Избранное. М., «Книга», 1989.
Л — «Лампада». Собрание стихотворений. Пг., 1922.
Нсб — Несобранное. США, 1987.
ООЦ-1 — «Отплытье на о. Цитеру». Поэзы. СПб., «Ego», 1912.
ООЦ-2 — «Отплытие на остров Цитеру». Избр. стихи 1916—1936. Берлин, «Петрополис», 1937.
ПЗ — «Петербургские зимы». Нью-Йорк, Изд-во им. Чехова, 1952.
Портр — «Портрет без сходства». Париж, «Рифма», 1950.
ПС — «Памятник славы». Стихотворения. Пг., «Лукоморье», 1915.
Р — «Розы». Париж, «Родник», 1931.
РА — «Распад атома». Париж, 1938.
С-1 — «Сады». Третья книга стихов. Пг., «Петрополис», 1921.
С-2 — «Сады». Берлин, Изд-во С. Ефрон, 1922.
СД — Izbrannye stikhotvorenia. Под ред. В. Сечкарева и М. Далтон. Вюрцбург, 1975.
Ст-58 — «1943—1958. Стихи». Нью-Йорк, Изд-во «Нового журнала», 1958.

Сборники, периодические издания и др.

Ап — журнал «Аполлон» (Петербург — Петроград).
Блг — журнал «Благонамеренный» (Брюссель).
ВарТ-61 — Ю. Терапиано. «Варианты».— «Мосты», 1961, № 6.
Возр — журнал «Возрождение» (Париж).
ВчТ — альманах «Вечер «Триремы». Пг., 1916.
Гип — журнал «Гиперборей» (Петербург).
Д — газета «Дни», Париж.
ЕпрН — «Ежемесячные литературные и научно-популярные приложения» к «Ниве» (Петербург — Петроград).
Зв — газета и журнал «Звено» (Париж).

Кам — альманах «Камена», кн. 1—2, Харьков — Москва — Петроград, 1919.

ЛитМ — альманах «Литературная Мысль», Пг., 1922.

ЛН — сборники «Литературное наследство», М., «Наука».

ЛС — альманах «Литературный современник», Мюнхен, 1954.

Лук — журнал «Лукоморье» (Петроград).

Н — журнал «Нива» (СПб.— Пг.).

НЖ — «Новый журнал», Нью-Йорк.

Нжг — газета «Нижегородец».

Ог — журнал «Огонек» (СПб.— Пг.).

Оп — журнал «Опыты».

Ор — альманах «Орион», Париж, 1947.

ПБС — А. Парнис, Р. Тименчик. Программы «Бродячей собаки».— В кн.: «Памятники культуры. Новые открытия». Л., «Наука», 1983.

ПбСб — «Петербургский сборник 1922. Поэты и беллетристы». Пг., 1922.

ПН — газета «Последние новости» (Париж).

Сег — газета «Сегодня» (Рига).

СЗ — журнал «Современные записки» (Париж).

ТрП — альманах «Тринадцать поэтов», Пг, 1917.

ЦП-1 — альманах «Дракон», Пг., «Цех поэтов», 1921.

ЦП-2 — альманах «Цех поэтов», кн. 2, Пг., 1921.

ЦП-3 — альманах «Цех поэтов», кн. 3, Пг., 1922.

ЦП-4 — альманах «Цех поэтов», № 4, Берлин, 1923.

Ч — журнал «Числа» (Париж).

ЛАМПАДА

Этот сборник был издан Георгием Ивановым в 1922 году в Петрограде и имел подзаголовок: «Собрание стихотворений. Книга первая». Без существенных изменений он был переиздан в 1923 году в Берлине. Книга представляет собою попытку дать читателю избранное из juvenilia Г. Иванова — путем объединения стихотворений, написанных до 1914 года, с некоторыми более поздними, эстетически примыкающими именно к начальному этапу его творчества. Выбор стихотворений в целом носил субъективный характер, многие удачные стихи тех лет в книгу включены не были, так как для Г. Иванова с самого начала его творческого пути идея создания композиционно целостного сборника всегда была основной при формировании книги. Из *ООЦ-1* в *Л* вошло 23 стихотворения, из *Г* — 13, из *ПС* — 6, наконец, из *В-1* — 4. Об этих последних Г. Иванов писал в предисловии к *В-2* (датированном *15.XII.1921 г., Петербург* — но опубликованном уже в Берлине): «Во втором издании предлагаемой книги опущены все стихи ранее 1914 года 〈...〉. Опущенные стихи частью вошли в первую книгу Собрания моих стихотворений, изд-во «Мысль», Петербург, 1922 г.» — т. е. в *Л*. Над составлением *Л*, *В-2* и *С* Г. Иванов работал почти одновременно и воспринимал их как три части «Собрания стихотворений», тем самым подводя итог своему поэтическому творчеству по самый конец 1921 года. 39 стихотворений, впервые опубликованных Г. Ивановым в *Л*, составляют особую часть этой книги и недаром по большей части размещены в начале *Л*: поэт, видимо, хотел предстать перед читателем в своем дореволюционном творчестве возможно более зрелым мастером (как того требовали каноны «Цеха поэтов»).

«Из белого олонецкого камня...» (стр. 43). — «Программное» ст-ние *Л*, построенное в точном соответствии с принципами акмеизма и резко отличное от «лубочных» стихов Г. Иванова о России, печатавшихся, например, в *Лук*.

«Тонким льдом затянуты лужицы...» (стр. 44). — *О сиянии прошлых лет...* — «Сияние» в поэзии Г. Иванова — слово-лейтмотив, повторявшееся во всех периодах его творчества. Особое значение это слово приобретает в *Р* и в неоконченном романе «Третий Рим». В *Ст-58* «сияние» — почти метафизический символ, связанный

и с «невозвратимым прошедшим временем» и с «мировой красотой и мировым уродством» (см. *РА*).

«Вновь с тобою рядом лежа...» (стр. 47).— Первая строка — перефразировка названия одной из картин Ватто «С тобою рядом сидя», хотя содержание ст-ния и картины (не сохранившейся, но известной по гравюре) различно.

«Прощай, прощай, дорогая!..» (стр. 48).— *Ленора* — героиня одноименной поэмы Г.-А. Бюргера (в 1831 г. переведенной В. А. Жуковским), а также героиня ст-ния Эдгара По «Ворон» (1845).

«Неправильный круг описала летучая мышь...» (стр. 51).— *И нас // Безжалостный ветер с осенней листвой унесет* — возможно, отзвук рефрена «Баллады на старофранцузском языке» Франсуа Вийона «Так ветер все уносит прочь». Это выражение, как отмечает Г. К. Косиков, «превратилось впоследствии в знаменитую поговорку» (Villon F. Œuvres. Сборник. Сост. Г. К. Косиков. М., «Радуга», 1984, с. 411).

«Черные вишни, зеленые сливы...» (стр. 52).— Впервые в *ВЧТ*. *...Память о мне* — один из полонизмов, достаточно частых у Г. Иванова.

«Я в жаркий полдень разлюбил...» (стр. 54).— Впервые в сб. *ТрП*.

«Над морем северным холодный запад гас...» (стр. 55).— *Гальциона* — латинское название зимородка, в русской поэзии XIX века так нередко называли чайку. *Тернер* Уильям (1775—1851) — английский живописец и график, среди его работ есть и морские пейзажи. «Безумцем» Тернер назван здесь не случайно: мать художника страдала психическим расстройством, и он жил под постоянной угрозой вспышки этого недуга, который мог быть наследственным. Недружелюбно настроенные по отношению к Тернеру художественные критики, зная об этом факте, неоднократно называли его «сумасшедшим» в своих статьях — отсюда легенда о «безумии» Тернера.

«Зефир ночной волной целебной...» (стр. 56).— *Зефир* в древнегреческой мифологии — бог западного ветра, считавшегося теплым и нежным. *Эол* в той же мифологии — бог, отец ветров. «Горний Эол» — редкая для поэта-акмеиста стилистическая неточность: библейский эпитет «горний» применен к имени древнегреческого божества. Кроме того, Эол обитал не на Олимпе, а на острове Эолия и, следовательно, «небожителем» не являлся.

«Сквозь зеленеющие ветки...» (стр. 57).— Ср. со ст-нием О. Мандельштама «Теннис» (1913).

«Италия! твое Амуры имя пишут...» (стр. 58).— Впервые в *ЕпрН*, затем — в «Альманахе Муз», Пг., 1916. *...львов святого Марка...* — Лев — символ св. Марка Евангелиста — был изображен на гербе Венеции и на многочисленных памятниках венецианского искусства (колонна на Пьяцетте, скульптурная группа над входом Порта делла Карта во дворец Дожей и др.). *Канцона* — жанр в западноевропейской поэзии Возрождения.

«Я вспоминаю влажные долины...» (стр. 60).— Характерный образец «шотландской» темы в поэзии Г. Иванова, ср. с поздним ст-

нием «Полутона рябины и малины...» (*Ст-58*), с поздней переработкой вошедшего в *С* ст-ния «Теперь я знаю — все воображенье...» (1958), где, говоря об уходе поэта из мира, Г. Иванов напишет: «Не обернется он на звон прощальный // Несуществующих шотландских лир». *Генсборо* (вернее, Гейнсборо) Томас (1727—1788) — английский художник, мастер портретной и пейзажной живописи.

«Здесь волн Коцитовых холодный ропот глуше...» (стр. 62).— *Коцит* в древнегреческой мифологии — одна из рек подземного царства мертвых — Аида. Однако у Г. Иванова речь идет об апокрифическом сошествии Христа в ад, а Коцит, видимо, взят Ивановым из «Божественной комедии» Данте. Но у Данте Коцит — не река, а ледяное озеро, в котором испытывают муки вечного холода грешники; «волны», которых в ледяном озере явно быть не может,— результат синкретической контаминации.

«Я не любим никем!..» (стр. 64).— *Полифон* — жанр полифонической музыки.

Заставка (стр. 66).— Первоначально в *Г*, в составе цикла «Книжные украшения» (см. комм. к ст-нию «На лейпцигской раскрашенной гравюре...»); впервые было опубликовано в журнале «За 7 дней» (1913, № 41) под загл. «Виньетка».

«Пристальный взгляд балетомана...» (стр. 68).— О балерине *Т. П. Карсавиной* (1885—1978) см. комм. к гл. I *ПЗ* (т. 3 наст. изд.).

«Склонились на клумбах тюльпаны...» (стр. 70).— Первоначально в *ООЦ-1*. *Альмадин* (чаще альмандин) — драгоценный камень красного цвета, нередко с фиолетовым оттенком.

«Бродят понуро...» (стр. 74).— Первоначально в *ООЦ-1* под названием «Осень». Ср. некоторые переводы Сологуба из Верлена («Серенада», «Осенняя песня»). «Невообразимая» рифма «нимфы — заимфы» заставляет вспомнить Северянина. Само слово «заимф», возможно, взято из романа Флобера «Саламбо» (1862), где так называется священное покрывало.

«Он — инок. Он — Божий. И буквы устава...» (стр. 77).— Этим ст-нием (вместе с другим — «Икар») Г. Иванов дебютировал в печати в журнале «Все новости литературы, искусства, театра, техники и промышленности», 1910, № 1. В этой публ. оно озаглавлено «Осенний брат», в *ООЦ-1* — загл. «Инок».

«Вот — письмо. Я его распечатаю...» (стр. 80).— В первой публ. («Гаудеамус», 1911, 3 марта, № 6) и в сб. *ООЦ-1* было посвящено М. Кузмину.

«Луна взошла совсем как у Верлена...» (стр. 83).— Ср. ст-ния П. Верлена «Ночной луною...» из кн. «Добрая песня» и «Лунный свет» из кн. «Галантные празднества» (в переводе Ф. Сологуба).

«О, сердце, о, сердце...» (стр. 88).— Это ст-ние, как и ряд последующих, навеяно лубочной поэтикой ранних стихов С. Городецкого («Ярь», СПб., 1907).

«Опять сияют масляной...» (стр. 91).— Впервые в *Лук*. 1917, № 8.

«Кофейник, сахарница, блюдца...» (стр. 100).— Впервые в *ЕпрН*, г. 3, 1914, под загл. «Старинный сервиз». Вошло в *В-1*.

«Беспокойно сегодня мое одиночество...» (стр. 102).— Впервые в *Н* (1914, № 9), вошло в *В-1*. Ст-ние перекликается с ранними рассказами «Дальняя дорога», «Генеральша Лизанька» и др.

«Она застыла в томной позе...» (стр. 105).— В первой публ. (*Лук*, 1916, № 34) это ст-ние и следующее («Когда луны неверным светом...») были напечатаны под общим загл. «Старинные портреты».

Отрывок («Когда весенняя прохлада...») (стр. 108).— В первой публ. (*Лук*, 1916, № 24) ст-ние имело длинное продолжение (39 строк).

Альбомный сонет (стр. 110).— В эпиграфе — первая строка переведенного В. А. Жуковским сонета Лопе де Вега Карпио (1562—1635).

Видения в Летнем саду (стр. 111).— Первоначально в составе *ПС*, где посвящено Ю. Юркуну, входило в раздел «Столица на Неве», посвященный Г. Адамовичу, под № 2.

«Опять на площади Дворцовой...» (стр. 113).— Первоначально в *ПС*, 1915, в том же разделе под № 4.

«Столица спит. Трамваи не звенят...» (стр. 114).— Первоначально в *ПС*, в том же разделе под № 5.

К памятнику (стр. 115).— Первоначально в *ЕпрН* (т. 1, 1915), входило в *ПС*, в тот же раздел (№ 6) под загл. «К памятнику Суворова». Памятник А. В. Суворову работы скульптора М. И. Козловского был открыт 5 мая 1801 г. *Провалы Альп и Чертов мост...*— во время знаменитого перехода войск Суворова через Альпы был перейден Чертов мост — через узкое ущелье реки Ренс (14—25 сентября 1799 г.). *Гений славы* — бронзовый щит пьедестала памятника поддерживают символические фигуры Славы.

Павловск (стр. 116).— *Эгретки* — перья, украшающие дамские шляпки. *Эспри* — также дамское украшение, хохол из перьев.

«Веселый ветер гонит лед...» (стр. 118).— Входило в *В-1*, перепечатано в альманахе «Вечерний салон поэтов» (М., 1918).

«Стучат далекие копыта...» (стр. 119).— Первоначально в *Г*. Загадку представляют собою строки 9—10, ни с чем не рифмующиеся,— необычный для поэтики Г. Иванова прием. Ср. с рассказом Иванова «Черная карета» (см. т. 2 наст. изд.).

«Китайские драконы над Невой...» (стр. 120).— Первоначально (с грубой опечаткой) в *Г*. Имеются в виду гранитные скульптурные изображения мифических существ Ши-цза, привезенные из Маньчжурии и установленные в 1907 г. на Петровской набережной в Петербурге. *Боксеры* — участники так называемого «боксерского восстания» в Китае (1900—1901).

Болтовня зазывающего в балаган (стр. 126).— Впервые в *Гип* (1913, № 8) под загл. «Заезжие балаганщики». В *В-1* имело посвящение О. Мандельштаму. *Посылка* — в старофранцузской балладе завершающая строфа, содержащая обращение к адресату ст-ния.

Бродячие актеры (стр. 129).— В *Г* было посвящено Н. Гумилеву.

Отрывок («Я помню своды низкого подвала...») (стр. 130).— Входило в *Г*, где загл. не имело; после приводимого нами текста в этой публ. следовало еще одно шестистишие:

Мне кажутся тысячелетним грузом
Те с легкостью прожитые года.
На старике — халат с бубновым тузом,
Ты — гордостью последнею горда.
Я равнодушен. Я не верю музам
И света не увижу никогда.

Песня о пирате Оле (стр. 135).— Впервые в журнале «Все новости литературы, искусства, театра, техники и промышленности», 1910, № 4. В этой публ. строка 9: «Царь вселенной рдяно-алый»; строка 27: «Громы-крики заглушали»; строка 32: «Окровавлен он и страшен».

ВЕРЕСК

Сборник с таким названием выходил дважды: 1-е издание — Пг., 1916; 2-е издание — Берлин — Петербург — Москва, 1923. В обоих случаях наличествовал подзаголовок «Вторая книга стихов». Из первого издания было изъято и никуда больше не включалось лишь одно стихотворение, 4 — перешли в *Л* (см. выше), 23 — в *В-2*. Кроме того, в *В-2* перешло 16 стихотворений из *Г*, 1 стихотворение из сборника *ПС*, а также были включены 3 новых стихотворения. Иначе говоря, *В-1* связан с *В-2* весьма условно. В качестве отдельного раздела к *В-2* были прибавлены семь переводов, о которых сам Г. Иванов в предисловии к *В-2* писал: «...они 〈...〉 сделаны в 1918 году и печатаются впервые». *В-2* был посвящен *Габриэль*, т. е. Габриэль Тернизьен, первой жене поэта.

«Мы скучали зимой, влюблялись весною...» (стр. 139).— Впервые в *ВчТ* с посвящением Всеволоду Курдюмову (1892—1956), знакомому Г. Иванова, автору сборников стихотворений «Пудреное солнце» (1913), «Ламентации мои» (1914) и других; в сб. «Ламентации мои» был помещен сонет-акростих, посвященный Г. Иванову.

Литография (стр. 140).— В *В-1* заглавия не имело. Пожалуй, единственное ст-ние Г. Иванова с явным использованием излюбленных мотивов поэзии Н. Гумилева (экзотика, географические открытия и путешествия).

«Как я люблю фламандские панно...» (стр. 142).— В первой публ. в журнале «Голос жизни» (1915, № 10) озаглавлено «Клод Лоррен» (так же было первоначально озаглавлено ст-ние «От сумрачного вдохновенья...» в *С*, о чем подробно см. в предисловии). *Клод Лоррен* (Клод Желле, 1600—1682) — французский живописец и график.

«О, празднество на берегу...» (стр. 143).— *Ватто* Антуан (1684—1721) — французский живописец и график, упоминается в нескольких ст-ниях Г. Иванова.

«Пожелтевшие гравюры...» (стр. 144).— Впервые в *Лук* (1915, № 30); в третьей с конца строке ст-ния было: «Томно тикают часы...»

Отрывок («Июль в начале. Солнце жжет...») (стр. 145).— Впервые в «Альманахе стихов под ред. Д. Цензора», вып. 1, Пг., 1915. В *В-1* было посвящено Г. Адамовичу. На хранящемся в ЦГАЛИ автографе проставлено иное посвящение — «Николаю Оцупу».

«Кудрявы липы, небо сине...» (стр. 148).— Впервые (с разночтением) в *Лук* (1915, № 33). Посвящено редактору этого журнала М. Н. Бялковскому.

«Как хорошо и грустно вспоминать...» (стр. 149).— Единственное ст-ние из *ПС*, перешедшее в *В-2*. В *ПС* вторая строка: «...о Бельгии неприхотливом люде». Вместо оккупированной немцами во время первой мировой войны Бельгии Г. Иванов ввел в ст-ние Фландрию — что изменило «политическую» окраску ст-ния на «эстетическую».

«Визжат гудки. Несется ругань с барок...» (стр. 154).— В *В-1* восьмая строка ст-ния читалась: «На мачту. За бутылкою вина». *Сэр Джон Ферфакс* — персонаж повести М. Кузмина «Путешествия сэра Джона Фирфакса по Турции и другим странам...» (Кузмин М. Третья книга рассказов. М., 1913).

«Уже сухого снега хлопья...» (стр. 161).— В одиннадцатой строке исправлена явная опечатка (в *В-2*: «Тебя давно в ее кувшине...»).

«Закат золотой. Снега...» (стр. 162).— Адресовано, очевидно, Н. Гумилеву, который в это время был на войне. Ср. в «Посмертном дневнике» ст-ние «Ликование вечной, блаженной весны...».

«Все дни с другим, все дни не с вами...» (стр. 163).— Последняя строфа обозначалась Г. Ивановым отточиями во всех изданиях и пока не разыскана. *Над рубашкой синей* — ср. с упоминаниями о «синем платье» в «Третьем Риме» и в *РА*. Образ этот находит позже отражение в ст-нии Анатолия Штейгера (1907—1944): «Глупо, смешно и тяжко // Помнить годами вздор: // Синюю эту рубашку, // Синий ее узор. // Ворот ее нараспашку. // Пояс. На поясе пряжку».

«Оттепель. Похоже...» (стр. 165).— Впервые в *Кам*, кн. 1. В *Кам* озаглавлено: «1918». В книге (в целом вообще изобилующей опечатками) допущена явная опечатка, которая в нашем издании исправлена по тексту первой публикации: «...стоит в «провале», без сомнения, следует читать «...в «Привале» (ср. с цитатой в гл. V *ПЗ*). *«Привал»* — имеется в виду литературно-артистическое кабаре Б. Пронина «Привал комедиантов» (см. о нем в *ПЗ*).

«Все бездыханней, все желтей...» (стр. 169).— Во второй строфе переклички с переводом В. Комаровского «Оды греческой вазе» Китса (в сб. Комаровского «Первая пристань», 1913).

«О расставаньи на мосту...» (стр. 170).— В *В-2* последняя строка была изменена и читалась — «Уже пятнадцатого года»; в настоящем издании печатается по *ООЦ-2*. В начале 1958 г., подготавливая к печати «Полное собрание стихов» (так и не состоявшееся), Г. Иванов перерабатывает данное ст-ние. Его полный вариант, опубликованный в *ВарТ-61*, представляется интересным процитировать полностью:

О расставаньи на мосту,
О ней, о черноглазой Ане,
Вздохнул. А за окном в цвету
Такие русские герани.

И русских ласточек полет.
Какая ясная погода!
Как быстро осень настает
Уже семнадцатого года.

...Как быстро настает зима
Уж пятьдесят седьмого года,
Вздохнул. Но вздох — иного рода —
Изгнание... Тюрьма — сума.
— Не выдержу! Сойду с ума!

«Пустынна и длинна моя дорога...» (стр. 171).— Ср. со ст-нием «Мелодия становится цветком...» в *Ст-58*.

«Поблекшим золотом, холодной синевой...» (стр. 173).— Впервые в *Н* (1913, № 39) под загл. «Элегия».

Петр в Голландии (стр. 174).— Впервые в *Н* (1914, № 3) без посвящения. Вошло в *Г* (1914) как первая часть состоявшего из пяти ст-ний цикла «Книжные украшения» (третье — «Какая-то мечтательная леди» и пятое — «Заставка» вошли в *Л*, остальные — в *В-2*). В *Г* уже имело посвящение Анне Ахматовой. Ахматова посвятила Г. Иванову ст-ние «Бисерным почерком пишите, Lise...». О сложном отношении Г. Иванова к Ахматовой в поздний период (и об отношении Ахматовой к Иванову) см. подробней в предисловии и в комм. к гл. VI *ПЗ* (см. т. 3 наст. изд.).

«На лейпцигской раскрашенной гравюре...» (стр. 175).— В *Г* — вторая часть цикла «Книжные украшения». После первых двух строф имелась еще одна, позже опущенная:

За аркой — светлая блестит речонка,
Осенена старинными дубами,
И детская игривая ручонка
Резвится с золотистыми струями.

Ваза с фруктами (стр. 176).— В *Г* — четвертая часть цикла «Книжные украшения».

Осенний фантом (стр. 178).— Первоначально в *Г*. Ср. со ст-нием «Тучкова набережная» в разделе «Стихотворения, исключенные...» и с рассказом «Черная карета».

Уличный подросток (стр. 180).— Первоначально в *Г*. Единственный известный у Г. Иванова «сонет с кодой» (ср. разговор с А. Блоком о том, «нужна ли кода к сонету», о котором Г. Иванов упоминает в гл. XVII *ПЗ*).

«Письмо в конверте с красной прокладкой...» (стр. 181).— Адресат ст-ния — А. Блок. О знакомстве Блока и Иванова см. комм. к гл. XVII *ПЗ*, о данном ст-нии см. *ЛН*, т. 92, 1983, кн. 3, с. 558—559.

Актерка (стр. 182).— Впервые в *Гип* (1913, № 5) с посвящением М. Моравской (1889—1947), участнице первого «Цеха поэтов».

В *Г* напечатано с незначительными изменениями, но без посвящения; в том же виде повторено в *В-2*.

«Горлица пела, а я не слушал...» (стр. 184).— Первоначально в *Г*. Это — единственное ст-ние из числа написанных до 1916 г. (*Г* вышла весной 1914 г.) и включенных в *ООЦ-2*. Благодаря этому мифологизируется хронология *ООЦ-2*, имевшего подзаголовок «Избранные стихи *1916—1936 гг.*».

Из Т. Готье, Ш. Бодлера и А. Самэна (стр. 185).— Эти переводы из французских поэтов Теофиля Готье (1811—1872), Шарля Бодлера (1821—1867) и Альбера-Виктора Самэна (1838—1900) были выполнены в 1918 году, когда Г. Иванов деятельно занимался поэтическим переводом в «Студии» М. Л. Лозинского (в частности, принимал участие в создании «коллективного» перевода «Трофеев» Ж.-М. Эредиа и т. д.). Этот раздел книги в *В-2* отличается предельной неисправностью текста, вплоть до отсутствия унификации в написании имен поэтов (в предисловии — Бодлэр, в тексте — Бодлер). В ст-нии Самэна «Вступление к книге «В саду инфанты» строку «Армаду, жертву лжи и обмана» не удается даже реконструировать: для соблюдения размера перед словом «обмана» должно было стоять еще одно слово. Также вместо «Прощает душу ей» — по смыслу нами восстановлено «Пронзает», как и еще несколько слов.

САДЫ

Книга была издана дважды — в 1921 году в Петрограде и в 1922 году в Берлине. Петроградское издание имело подзаголовок — «Третья книга стихов». Во втором издании были исключены три стихотворения, но добавлено пять новых, датированных 1921 годом. Наиболее ранние из вошедших в *С* стихотворений (по крайней мере, первое — «Где ты, Селим...») могут достоверно датироваться 1916 годом. В *ООЦ-2* поэт переиздал, частью в переработанном виде, лишь пять стихотворений из *В-2* и пятнадцать — из *С*. В настоящем издании *С* воспроизводятся по второму, берлинскому изданию; исключенные стихотворения отнесены в соответственный раздел; стихи, переизданные в *ООЦ-2*, даются по текстам этого последнего издания, разночтения оговариваются в комментариях. Первое издание *С* носило посвящение «Ирине Одоевцевой», на втором посвящения нет.

«Где ты, Селим, и где твоя Заира...» (стр. 201).— Этим ст-нием открывался *Ап*, 1916, № 9/10 (под загл. «Имена»). В том же номере было напечатано ст-ние «И пение пастушеского рога...», также вошедшее в *С*.

«Эоловой арфой вздыхает печаль...» (стр. 202).— Вместе с пятью другими ст-ниями, вошедшими в *С* («Не о любви прошу...», «Легкий месяц блеснет...», «В меланхолические вечера...», «Я вспомнил о тебе, моя могила...», «Кровь бежит по томным жилам...»), было

напечатано в *ЦП-2*. В *С-1* и *С-2* ст-ние имело третью строфу, отсеченную в *ООЦ-2*:

О если бы стать восковою свечой,
О если бы стать бездыханной звездою,
О если бы тусклой закатной парчой
Бессмысленно таять над томной водою!

«Не о любви прошу, не о весне пою...» (стр. 203).— *Этот снежный рай, в котором ты и я.*— Ср. с концовкой ст-ния Н. Гумилева «Перед ночью северной короткой...» (1921) в редакции, опубликованной в *ЛитМ*: «Только бы скорей дорогу к раю // Милым хрупким снегом замело». Эти строки скрыто цитируются и в поздних стихах Г. Иванова.

«Легкий месяц блеснет над крестами забытых могил...» (стр. 204).— В *С-1* и *С-2* окончание шестой строки: «...ты Марией ее называешь». Замена имени «Мария» на «Ирина» произошла в *ООЦ-2*.

«Оттого и томит меня шорох травы...» (стр. 205).— В *С-1* отсутствовало. В ст-нии повторяются мотивы лирики Омара Хайяма.

«Глядит печаль огромными глазами...» (стр. 206).— В *С-1* и *С-2* представляло собой ст-ние из четырех шестистиший, в *ООЦ-2* осталось лишь первое. Приводим три опущенные строфы:

Трубит рожок, и почтальон румяный,
Вскочив в повозку, говорит: «Прощай»,
А на террасе разливают чай
В большие неуклюжие стаканы.
И вот струю крутого кипятка
Последний луч позолотил слегка.

Я разленился. Я могу часами
Следить за перелетом ветерка
И проплывающие облака
Воображать большими парусами.
Скользит галера. Золотой грифон
Колеблется, на запад устремлен...

А школьница-любовь твердит прилежно
Урок. Увы — лишь в повтореньи он!
Но в этот час, когда со всех сторон
Осенние листы шуршат так нежно
И встреча с вами дальше, чем Китай,
О грусть влюбленная, не улетай!

«Тяжелые дубы, и камни, и вода...» (стр. 207).— Впервые в *Ап*, 1916, № 3.

«Я разлюбил взыскующую землю...» (стр. 208).— Впервые в *ТрП* вместе со ст-ниями «Нищие, слепцы и калеки...», «Я в жаркий полдень разлюбил...», «Мне все мерещится тревога и закат...». В упомянутой в предисловии рецензии на *С-1* А. Полянин (псевдоним Софии Парнок) писал в связи с этим ст-нием: «Прошло столько лет. Россия успела сменить порфиру на рабочую блузу и снова пестро

приодеться в конфекционе «новой экономической политики», а в заколдованных «Садах» Георгия Иванова мы встречаем все ту же одетую с иголочки фигуру... шуршит нам голосок из-под стеклянного колпака, накрывающего эти бездыханные «Сады»...».

«Прекрасная охотница Диана...» (стр. 210).— Видимо, здесь имеется в виду легенда о Титии, убитом стрелой Артемиды-Дианы, и одновременно стоящая «близ Невы» одна из статуй Летнего сада (главная аллея).

«Наконец-то повеяла мне золотая свобода...» (стр. 214).— Возможна перекличка со ст-нием В. Ходасевича «Красный Марс восходит над агавой...» из сб. «Счастливый домик» (1914).

Песня Медоры (стр. 215).— *Медора* — персонаж поэмы Байрона «Корсар» (1814).

«Зеленою кровью дубов и могильной травы...» (стр. 216).— Воспроизводится по тексту *ООЦ-2*. В *С-1* и *С-2* имело и третью строфу:

Зачем же тогда веселее земное вино
И женские губы целуют хмельней и нежней
При мысли, что вскоре рассеяться нам суждено
Летучею пылью, дождем, колыханьем ветвей...

«Холодеет осеннее солнце...» (стр. 217).— В *С-1* отсутствовало.

«Вновь губы произносят: «Муза»...» (стр. 218).— В ст-нии пересказан широко известный древнегреческий миф о Персее, победившем чудовище, пленившее Андромеду,— Персей показал ему отрубленную голову Горгоны Медузы, чей взгляд обращал живое в камень. Но Г. Иванов по-своему варьирует сюжет мифа: в зрачки Медузы смотрит не чудовище, а Андромеда.

«Из облака, из пены розоватой...» (стр. 220).— Почти одновременно с выходом *С-1* ст-ние было напечатано в альманахе *ЦП-1*.

«Как вымысел восточного поэта...» (стр. 221).— *Галактионов* Степан Филиппович (1779—1854) — художник-график, иллюстрировавший поэму Пушкина «Бахчисарайский фонтан».

«Дитя гармонии — александрийский стих...» (стр. 222).— *Александрийский стих* в русской традиции — цезурный шестистопный ямб, которым и написано данное ст-ние. *Где прошлогодний снег...* — рефрен «Баллады о дамах былых времен» Франсуа Вийона. *Четвертый пэон* — ритмический вариант ямба с ударениями на четвертом, восьмом, двенадцатом слогах; пример — седьмая строка данного ст-ния.

«Погляди, бледно-синее небо покрыто звездами...» (стр. 226).— *Сады Гесперид* в древнегреческой мифологии находились далеко на западе, на берегу реки Океан.

«Теперь я знаю — все воображенье...» (стр. 227).— В *ВарТ-61* вариант последней строфы:

И покидая дикий и печальный,
Его тоскою сотворенный мир,
Не обернется он на зов прощальный
Несуществующих шотландских лир.

Ср. со ст-нием «Я вспоминаю влажные долины...» в *Л*.

«Меня влечет обратно в край Гафиза...» (стр. 228).— Напечатано также в *ПбСб.*

«Я слушал музыку, не понимая...» (стр. 229).— *Где кличет ворон — арфе отвечая...*— Ср. в ст-нии О. Мандельштама «Я не слыхал рассказов Оссиана...» (1914): «И перекличка ворона и арфы // Мне чудится в зловещей тишине...»

«От сумрачного вдохновенья...» (стр. 234).— Впервые в журнале «Дом искусств», № 2, Пг., 1921, под загл. «Клод Лоррен».

«Нищие слепцы и калеки...» (стр. 237).— Впервые в альманахе *ТрП. Алексий* — «Алексий, человек Божий», житие которого традиционно было в России распеваемо нищими.

«Не райская разноцветная птичка...» (стр. 238).— В *С-1* после последней строки следовали еще две, опущенные в *С-2:*

Ты прости меня, дурную, помилуй,
Не клейми ты мои белые плечи.

«Еще молитву повторяют губы...» (стр. 240).— Ср. с описанием «купеческого быта» в очерке «Московский Форштадт» (см. т. 2 наст. изд.). *«Земщина»* — газета русских черносотенцев. Выходила в Петербурге в 1909—1917 гг.

«В Кузнецовской пестрой чашке...» (стр. 241).— «Товарищество М. С. Кузнецова» — знаменитая фирма, производившая фарфоровую и фаянсовую посуду.

«Когда скучна развернутая книга...» (стр. 245).— *Мейссен* (Мейсен) — немецкий город, знаменитый своим фарфором. *Марколини* Камило (ум. в 1814) — управляющий главной фарфоровой мануфактурой в Мейсене в 1774—1814 гг.

«Я не пойду искать изменчивой судьбы...» (стр. 246).— Первые две строки — несомненный намек на поэзию Н. Гумилева.

РОЗЫ

Р, наиболее известная из прижизненных поэтических книг Г. Иванова, вышла в Париже в издательстве «Родник» в 1931 году без указания количества отпечатанных экземпляров, однако тираж ее, вероятно, был обычным для сборников парижских поэтов — 300 или 500 экземпляров. После выхода *Р* некоторые критики русского зарубежья (Адамович и др.) объявили Г. Иванова «первым поэтом русской эмиграции», что окончательно испортило отношения Иванова с Ходасевичем.

В *Р* вошло 41 стихотворение, абсолютное большинство которых было предварительно опубликовано в парижских периодических изданиях в 1927—1930 годах,— именно с 1927 года (с № 31) Г. Иванов начинает печататься в *СЗ*, самом «солидном» печатном органе русского зарубежья. Лишь три стихотворения из вошедших в *Р* достоверно могут быть отнесены к допарижскому периоду творчества Иванова (ибо были опубликованы в альманахе *ЦП*-4). Таким об-

разом, основная часть *Р* создавалась одновременно с работой над *ПЗ* (отд. изд.— 1928) и после ее окончания. Второй раздел *ООЦ-2* представлял собой почти полное переиздание *Р* (без четырех стихотворений), но в силу данного разделу заголовка («Из сборника «Розы») по тексту *ООЦ-2* нами воспроизводятся лишь переработанные стихотворения. Так как *Р* — наиболее стройная в композиционном отношении книга Г. Иванова, стихотворения, вошедшие в нее, воспроизводятся в том порядке, в каком они были напечатаны в издании 1931 года, а не позднее в *ООЦ-2*.

«Над закатами и розами...» (стр. 255).— Впервые в *СЗ*, 1930, № 44. «Розы» в поэзии Г. Иванова одно из ключевых слов, знак бессмысленной «мировой красоты», которой противопоставлено столь же бессмысленное «торжество мирового уродства» (ср. *РА*). Ср. со ст-нием М. Кузмина «О, нездешние вечера...» (открывавшим сб. «Нездешние вечера») — очевиден ряд образных перекличек, но у Кузмина принципиально иная — мажорная — тональность.

«Глядя на огонь или дремля...» (стр. 256).— Впервые — «Новый дом», Париж, 1927, № 3.

«Синий вечер, тихий ветер...» (стр. 257).— Впервые в *Ч*, 1930, № 1.

«Душа черства. И с каждым днем черствей...» (стр. 258).— Впервые — «Новый корабль», Париж, 1928, № 4. См. в *ВарТ-61* переработанный незадолго до смерти Г. Ивановым вариант второй строфы:

Да, я еще живу, но тягочусь
Бессмыслицей земного испытанья.
В игре теней и света я учусь
Великому искусству умиранья.

«Не было измены. Только тишина...» (стр. 259).— Впервые в *СЗ*, 1927, № 31.

«Напрасно пролита кровь...» (стр. 260).— Впервые в *Блг*, 1926, № 1.

«Перед тем, как умереть...» (стр. 261).— Впервые в *Ч*, 1930, № 1. Ст-ние неоднократно обыгрывалось Г. Ивановым в его позднейшем творчестве, см., в частности, «Посмертный дневник».

«Я слышу — история и человечество...» (стр. 262).— Впервые в *СЗ*, 1930, № 42.

«Теплый ветер веет с юга...» (стр. 263).— Впервые в *СЗ*, 1930, № 44. См. в *ВарТ-61* поздний вариант этого ст-ния. Вторая строфа в нем выглядела так:

«Пожалейте! Сколько горя,
Так ужасно умирать».
Теплый ветер веет с моря,
Да и слов не разобрать.

Последние строки:

«Пожалейте! Сколько горя!»
И уже не стало сил.
Теплый ветер веет с моря,
С белых камней и могил.

Заметает на просторе
Все, что в жизни он любил.

«Балтийское море дымилось...» (стр. 264).— Первую строфу этого ст-ния Г. Иванов цитирует в *ПЗ*, в воспоминаниях о поэте Л. Каннегиссере, ставшем убийцей М. Урицкого: по словам Г. Иванова, Каннегиссера после убийства Урицкого содержали в кронштадтской тюрьме и возили на допросы в Петроград на катере, что можно истолковать и как «скрытое содержание» данного ст-ния.

«Черная кровь из открытых жил...» (стр. 265).— Впервые в *Зв*. 1928, 1 июля, № 6.

«Как в Грецию Байрон, о, без сожаленья...» (стр. 266).— Впервые в *Зв*. 1927, 5 июня, № 227. Английский поэт-романтик Дж. Г. Байрон (1788—1824) принимал участие в борьбе греческих патриотов против турецкого ига и умер в г. Миссолунги. В Москве, в ЦГАЛИ, хранится множество неизданных переводов из Байрона, выполненных Г. Ивановым еще до эмиграции (в частности, поэм «Мазепа», «Корсар», ряда стихотворений).

«Это только синий ладан...» (стр. 267).— Воспроизводится по *ООЦ-2*. В *Р* 1931 г. имело еще одну, заключительную строфу:

То, что ничего не значит
И не знает ни о чем—
Только теплым морем плачет,
Только парусом маячит
Над обветренным плечом.

«В сумраке счастья неверного...» (стр. 268).— Впервые в *СЗ*. 1930, № 44.

«В комнате твоей...» (стр. 269).— Одно из четырех ст-ний *Р*, позднее не переизданных.

«Увяданьем еле тронут...» (стр. 270).— Впервые в *ПН*, 1930, 10 июня (№ 9396).

«Прислушайся к дальнему пенью...» (стр. 271).— Впервые в *Д*, 1926, 18 июля (№ 1057). *Дочь океана* — возможно, имеется в виду древнегреческая легенда о безответной любви циклопа Полифема к прекрасной нереиде (т. е. дочери морского старца Нерея) Галатее.

«Когда-нибудь и где-нибудь...» (стр. 273).— Впервые в *Ч*, 1930, № 1. *Зеленая звезда* — отсылка к ст-нию О. Мандельштама «На страшной высоте блуждающий огонь...» (1918). *Розы упадут на грудь...* — возможно, искаженная цитата из ст-ния М. Кузмина «О, нездешние вечера...» У Кузмина: «...скоро // Увенчается розой грудь».

«Злой и грустной полоской рассвета...» (стр. 274).— Впервые в *ПН*, 1928, 20 дек. (№ 2829).

«Закроешь глаза на мгновенье...» (стр. 275).— Впервые в *Ч*, 1930, № 1. *По синему царству эфира // Свободное сердце летит* — аллюзия к первым строкам лермонтовского перевода баллады И.-Х. Цедлица «Воздушный корабль» («По синим волнам океана...»).

«В тринадцатом году, еще не понимая...» (стр. 277).— Впервые в *Зв*, 1926, 16 мая, № 172.

«Холодно бродить по свету...» (стр. 279).— Впервые в *СЗ*, 1930, № 44. *«Донна Анна! Нет ответа...»* — цитата из ст-ния А. Блока «Шаги командора» (1910—1912).

«По улицам рассеянно мы бродим...» (стр. 280).— Впервые в *Зв*, 1928, 1 февр., № 2. *Операà* (в издании 1931 г. было напечатано латинскими буквами) — театр Оперы в Париже.

«Для чего, как на двери небесного рая...» (стр. 281).— Впервые в *Зв*, 1926, 24 янв., № 156. *...Где-то — быть может, на звездах — // Будем счастливы мы* — видимо, отсылка к циклу ст-ний Ф. Сологуба «Звезда Маир» (1898—1901).

«Страсть? А если нет и страсти?..» (стр. 282).— Впервые в *СЗ*, 1930, № 4.

«Как грустно и все же как хочется жить...» (стр. 283).— В *Р* 1931 г. в первой строке вместо «грустно» стояло «скучно». *Конкорд* — площадь Согласия в Париже.

«Так тихо гаснул этот день. Едва...» (стр. 284).— Впервые в *ЦП-4*. В *ООЦ-2* не вошло.

«Грустно, друг. Все слаще, все нежнее...» (стр. 285).— Впервые в *Д*, 1926, 30 мая.

«Не спится мне. Зажечь свечу?..» (стр. 286).— Впервые в *ЦП-4*. Не переиздано в *ООЦ-2*.

«Январский день. На берегу Невы...» (стр. 287).— Впервые в *ЦП-4*, затем — *Зв* (1928, № 6). *Олечка Судейкина... Ахматова, Паллада...* — см. комм. к *ПЗ* (т. 3 наст. изд.). *Саломея* — С. Н. Андроникова (в замужестве Гальперн, 1888—1982) — петербургская красавица, которой посвящены ст-ния О. Мандельштама (цикл «Соломинка», 1916) и Анны Ахматовой. Концовку этого ст-ния Г. Иванов менял несколько раз. В *Р* после публикуемого нами (по *ООЦ-2*, последнему прижизненному изданию) текста следовали две строки:

Но Всеволода Князева они
Не вспомнят в дорогой ему тени.

Князев Всеволод Гавриилович (1891—1913) — поэт, друг М. Кузмина; о его самоубийстве речь идет в «Поэме без героя» Анны Ахматовой. См. в *ВарТ-61* поздний вариант этого ст-ния, где Иванов восстановил строки о Князеве и присовокупил к ним еще четыре стиха:

Ни Олечки Судейкиной не вспомнят,
Ни черную ахматовскую шаль,
Ни с мебелью ампирной низких комнат —
Всего того, что нам смертельно жаль.

Ст-ние представляет собою несомненную парафразу на тему «Баллады о дамах былых времен» Франсуа Вийона.

«Как лед наше бедное счастье растает...» (стр. 287).— Впервые в *Блг*, 1926, № 1 (как первая часть цикла «Стансы»). Для Г. Иванова ст-ния в одно четверостишие не характерны, они появлялись у него или накануне периодов молчания, или при выходе из них. Почти полное отсутствие публикаций Г. Иванова с конца 1923 по 1926 г. в сочетании с немногими сохранившимися «очень короткими» ст-ниями подтверждает, что в это время в Париже поэт пережил

период внутренних поисков, как обычно, сказавшийся для него во временном молчании.

«Синеватое облако...» (стр. 288).— Впервые в *СЗ*, 1927, № 31. В *ВарТ-61* опубликован вариант этого ст-ния, созданный Г. Ивановым незадолго до смерти,— несомненно, более слабый, чем публикуемый текст (Иванов в основном лишь переставлял строки). Отметим влияние ст-ния И. Анненского «Снег» («Полюбил бы я зиму...»).

«В глубине, на самом дне сознанья...» (стр. 289).— Впервые в *ПН*, 1929, 20 июня. Перекликается со ст-нием В. Ходасевича «В заботах каждого дня...» (1917), что было отмечено рецензентами *Р* — как Владимиром Вейдле, так и (позднее) самим Ходасевичем.

«Утро было как утро. Нам было довольно приятно...» (стр. 290).— Впервые в ☙, 1930, № 1. В *ООЦ-2* не вошло.

«Медленно и неуверенно...» (стр. 291).— Впервые в *ПН*, 1928, 10 мая.

«От синих звезд, которым дела нет...» (стр. 292).— Впервые в *Ч*, 1930, № 1.

«Даль грустна, ясна, холодна, темна...» (стр. 293).— Впервые в *Зв*, 1927, № 227.

«Все розы, которые в мире цвели...» (стр. 294).— Впервые в *ПН*, 1928 (№ 2605). *Титаник* — океанский пароход, потерпевший крушение в 1912 г.

ОТПЛЫТИЕ НА ОСТРОВ ЦИТЕРУ

Эта единственная прижизненная книга «Избранного» Георгия Иванова, вышедшая в самом начале 1937 года в Берлине в количестве 300 экземпляров («в ознаменование 19-летия существования издательства»,— сказано в аннотации, видимо, с намеком на 20-летие революции), состояла из трех разделов. Только первый из трех разделов книги представлял собою «новые стихи» — точнее, стихи, ранее не включавшиеся Ивановым в сборники. Все они были ранее опубликованы в периодике (в одном случае — даже в 1925 году). Интересно, что в 1932 году в *СЗ* (№ 48) появилась подборка стихотворений Г. Иванова под заглавием: «Из книги «Ночной смотр». Видимо, тогда Георгий Иванов помышлял не об «Избранном», а о книге новых стихотворений; по неизвестным причинам издание не состоялось, никакого авторского проекта содержания этой невышедшей книги обнаружить не удалось. Но четыре стихотворения из упомянутой подборки вошли в *ООЦ-2*.

Название книги повторяет название первого сборника Г. Иванова, вышедшего ровно за двадцать пять лет до этого. Однако автор внес незначительное, казалось бы, изменение — вместо географического обозначения «о. Цитера» проставлено «остров Цитера», исчез и манерный мягкий знак в слове «отплытие».

В настоящем издании без изменений воспроизводится первый раздел данной книги.

«О высок, весна, высок твой синий терем...» (стр. 297).— Впервые в *СЗ*, 1931, № 47.

«Это месяц плывет по эфиру...» (стр. 298).— Впервые — там же. *Это лодка скользит по волнам... // Это смерть улыбается нам...* — образ лодки-смерти распространен в мировой поэзии. Ср., например, ст-ние Г. Р. Державина «На выздоровление Мецената».

«Россия счастие. Россия свет...» (стр. 299).— Впервые — там же. *А может быть, России вовсе нет...* — возможно, отзвук первой фразы статьи А. Блока «Интеллигенция и революция» (1918): «Россия гибнет», «России больше нет», «вечная память России» — слышу я вокруг себя». *И музыка, сводящая с ума...* — Ср. призыв Блока «слушать ту великую музыку будущего, звуками которой наполнен воздух» (из той же статьи).

«Только всего — простодушный напев...» (стр. 300).— Впервые — там же. Ср. со ст-нием «Прозрачная ущербная луна...» (в разд. «Стихотворения, не входившие в прижизненные сборники»).

«Слово за словом, строка за строкой...» (стр. 301).— Впервые в *СЗ*, 1932, № 48, в подборке под загл. «Из книги «Ночной смотр».

«Музыка мне больше не нужна...» (стр. 302).— Впервые в *СЗ*, 1931, № 47.

«Звезды синеют. Деревья качаются...» (стр. 303).— Впервые в *СЗ*, 1934, № 55.

«Ни светлым именем богов...» (стр. 304).— Впервые в *СЗ*, 1931, № 47. *И тьма — уже не тьма, а свет...* — «перевернутое» евангельское изречение: «...Итак, смотри: свет, который в тебе, не есть ли тьма?» (От Луки, 11 : 35).

«Сиянье. В двенадцать часов по ночам...» (стр. 306).— Впервые в *СЗ*, 1932, № 48 (в подборке «Из книги «Ночной смотр»). Само название «Ночной смотр» (как и данное ст-ние, которому в неизданной книге, видимо, отводилась «заглавная» роль) восходит к балладе В. А. Жуковского «Ночной смотр» (1836, вольный перевод из Цедлица; в первой строке ст-ния Г. Иванова цитируется ее начало). В *ВарТ-61* опубликован «предсмертный» вариант этого ст-ния:

Проклятие шепотом шлет палачам
Бессильная злоба.
Сиянье. В двенадцать часов по ночам
Из гроба...

В парижском окне леденеет луна,
Шампанское взоры туманит...
И музыка. Только она
Одна не обманет.

Гитарные вздохи ночных голосов —
О, все это было когда-то —
Над синими далями русских лесов
В торжественной грусти заката.
«Из плена два русских солдата...»
Сиянье... Сиянье. Двенадцать часов.
Расплата.

«Из плена два русских солдата...» — парафраза знаменитого ст-ния Г. Гейне «Во Францию два гренадера...» (перевод М. Михайлова). В частном собрании в Москве хранится автограф перевода этого ст-ния, выполненного Г. Ивановым в 1918 г.

«Замело тебя, счастье, снегами...» (стр. 307).— Впервые — там же. Ср. со ст-нием Гумилева «Перед ночью северной, короткой...» (вариант 1921 г.). См. комм. к ст-нию «Не о любви прошу...» (*С*).

«Так иль этак. Так иль этак...» (стр. 309).— Впервые в *СЗ*, 1931, № 47.

«Только темная роза качнется...» (стр. 310).— Впервые в *СЗ*, 1931, № 47.

«Я тебя не вспоминаю...» (стр. 311).— Впервые в *СЗ*, 1936, № 63. *Это только то, что знаю,// Только то, что можно знать...*— ср. четверостишие М. Кузмина, приводимое Г. Ивановым в *ПЗ*: «Дважды два — четыре...» и т. д. *Одинока, нелюдима // Вьется ласточкой душа...*— образ ласточки-души неоднократно появляется в стихах О. Мандельштама (см. «Я слово позабыл, что я хотел сказать...», 1920, и «Когда Психея-жизнь спускается к теням...», 1920). Возможно, что данное ст-ние Г. Иванова и обращено к Мандельштаму (при издании ст-ний, а особенно при переиздании, Г. Иванов часто снимал посвящения).

«Над розовым морем вставала луна...» (стр. 312).— Впервые в *Д*, 1925, 1 нояб. (№ 842). Ст-ние — парафраза «Сентиментальной беседы» Верлена. Впоследствии А. Вертинский положил его на музыку.

«Это звон бубенцов издалека...» (стр. 313).— Впервые в *Ч*, кн. 4, 1930—1931, в цикле «Разрозненные строфы». *Это звон бубенцов издалека* — неточная цитата из романса «Бубенцы» (1918) на слова А. Кусикова (1896—1977).

«В шуме ветра, в детском плаче...» (стр. 314).— Впервые в *СЗ*, 1936, № 63. Ст-ние датировано: «Сентябрь 1936 г.». Приводим также «предсмертный вариант», опубликованный в *ВарТ-61*:

В шуме ветра, в женском плаче,
В океанском пенном пенье
«А могло ли быть иначе»
Слышится, как сожаленье.

Тень надежды безнадежной
Всю тоску, все неудачи
Одевает в саван нежный.
«А могло бы быть иначе».

Заметает сумрак снежный
Все пути, все расстоянья.
Тень надежды безнадежной
Превращается в сиянье.

Все сгоревшие поленья,
Все решенные задачи,
«Все грехи, все преступленья...»
«А могло бы быть иначе».

«Душа человека. Такою...» (стр. 315).— Впервые в *Ч*, кн. 7/8, 1933. *И полною грудью поется // Когда уже не о чем петь...*— отсылка к заключительной строфе ст-ния О. Мандельштама «Отравлен хлеб, и воздух выпит...» (1913): «И если подлинно поется // И полной грудью, наконец, // Все исчезает — остается // Пространство, звезды и певец».

«Жизнь бессмысленную прожил...» (стр. 316).— Впервые — «Встречи», № 1, 1934 (Берлин).

1943—1958. СТИХИ

Под таким заглавием вышел через несколько месяцев после смерти Г. Иванова последний подготовленный им самим сборник стихотворений — самый большой в его жизни. Об этой книге есть упоминание в письме Г. Иванова Сергею Маковскому от 19 декабря 1957 года (ЦГАЛИ, ф. 2512, оп. 1, е.х. 243): «Спасибо за предложение издать мои стихи. По отношению ко мне оно запоздало — в Америке будут издавать мою толстую книгу». На книге проставлено: «Издание «Нового журнала» — инициатива этого издания исходила от тогдашнего секретаря редакции «Нового журнала» (позднее — главного редактора) Романа Гуля, написавшего самую, быть может, глубокую (при жизни Г. Иванова) статью о его поэзии, ставшую предисловием к данной книге. В сборник почти целиком (без четырех стихотворений) вошла предыдущая книга Г. Иванова (*Портр*), давшая название первому разделу; в ней имелся и второй раздел — «Rayon de rayonne», повторенный и расширенный в книге *Ст-58*. Его французское название — каламбур в духе сюрреализма: буквально оно означает «отдел искусственных тканей» (в магазине), но rayon имеет также значение «луч», т. е. по созвучию двух слов получается что-то вроде «неон в нейлоне» (предложено О. П. Кольцовой). Наконец, в третьей части — «Дневник» — отражается «пограничная ситуация» неизлечимо больного поэта. Сам Г. Иванов в недатированном письме от 1953 года к Роману Гулю («Новый журнал», 1980, № 140) просил: «...стихи напечатать не вместе с прочей поэтической публикой... потому еще, что эти стихи «Дневника» нечто вроде поэмы (для меня)». Как *Портр*, так и последняя книга были посвящены Ирине Одоевцевой; ряд стихотворений также был обозначен посвящениями ей.

«Что-то сбудется, что-то не сбудется...» (стр. 319).— Впервые в *НЖ*, 1949, № 22. *То, что сам понимаю едва*— здесь, видимо, впервые Г. Иванов декларировал свой окончательный отход от канонов акмеизма (в которых поэт, говорящий, сам не нонимая, что он говорит, невозможен); см. также программное ст-ние «Я люблю безнадежный покой...» и комм. к нему.

«Все неизменно, и все изменилось...» (стр. 320).— Впервые в *Ор*. *Долгие годы мне многое снилось...*— ср. с названием ненаписанных

воспоминаний Г. Иванова «Жизнь, которая мне снилась» (см. предисловие).

«Друг друга отражают зеркала...» (стр. 321).— Впервые в *Возр*, 1950, № 39. Зеркала, поставленные друг против друга, в оккультизме — магический символ бесконечности.

«Игра судьбы. Игра добра и зла...» (стр. 321).— Впервые в *НЖ*, 1951, № 21. С предыдущим ст-нием в единый цикл было объединено лишь в книге 1958 г.

«Маятника мерное качанье...» (стр. 322).— Впервые в *Ор*. Н. А. Богомолов в комм. к *ГИИ* указывает, что *Кабы на цветы да не морозы* — начало русской народной песни.

«Где прошлогодний снег, скажите мне?..» (стр. 323).— Первая строка представляет собой комбинированную цитату из «Баллады о дамах былых времен» Ф. Вийона. В переводе Н. Гумилева первая строка: «Скажите, где, в какой стране...»; рефрен баллады — «Но где же прошлогодний снег?».

«Воскресают мертвецы...» (стр. 324).— Впервые в *НЖ*, 1949, № 22.

«Он спал, и Офелия снилась ему...» (стр. 326).— Впервые — «Русский сборник» (кн. 1, Париж, 1946). Ср. «Офелию» А. Рембо и русский перевод Б. Лившица.

«День превратился в свое отраженье...» (стр. 327).— Впервые в *Возр*, 1950, № 39 (май-июнь). Ст-ние, вероятно, связано с «Погляди, бледно-синее небо покрыто звездами...» из *С* и является как бы его «отражением».

«А люди? Ну на что мне люди?..» (стр. 329).— Впервые в *Ор*. Ст-ние содержит мотивы поэзии В. Ходасевича (ср. «Люблю людей, люблю природу...», «День»). В 1977 г. Владимир Вейдле (весьма не любивший Г. Иванова при жизни) писал, что Г. Иванову «парадоксальным образом удалось путь Ходасевича, хоть и покосив его, продолжить» («Континент», № 11, 1977).

«Образ полусотворенный...» (стр. 330).— Впервые — там же. В *Портр* имело третью строфу:

«Тот блажен, кто забывает» —
Мудрость, хоть и небольшая!..
...И забвенье наплывает,
Биться сердцу не мешая.

«В награду за мои грехи...» (стр. 331).— Впервые в *Возр*, 1950, № 39 (май-июнь), в подборке, озаглавленной «Из книги «Портрет без сходства».

«Холодно... В сумерках этой страны...» (стр. 332).— Впервые в *Ор* с обратным порядком строф.

«Был замысел странно-порочен...» (стр. 335).— Впервые в *СЗ*, 1934, № 55 (т. е. снова в загл. *Ст-58* хронология оказывается мифологизированной).

«Потеряв даже в прошлое веру...» (стр. 336).— Снова возникают мотивы ранней лирики Г. Иванова — Ватто, остров Цитера. Ср. также ст-ние «Вздохни, вздохни еще...» (см. раздел «Стихотворения, не входившие в прижизненные сборники» и комм. к нему) с его

повторяющимся мотивом паруса смерти и вероятным откликом на ст-ние О. Мандельштама. Скрытая цитата из Мандельштама присутствует и в хронологически близком к этому ст-нию Г. Иванова ст-нии «На грани таянья и льда...» (см. комм. к нему).

«Отражая волны голубого света...» (стр. 337).— Впервые в *Портр.* «Ответ» на известное ст-ние В. Ходасевича «Ищи меня». Оба поэта обращаются как бы к будущему читателю. Но оптимизм Ходасевича («Но, вечный друг, меж нами нет разлуки...») превращается у Г. Иванова в безнадежно грустное «Лучше и вопросов, друг, не задавай...» и далее: «Помни, что тебя я называю другом, // Зная, что не встречу нигде и никогда...». Не исключено, что здесь Г. Иванов как бы подводит итог своим непростым отношениям с Ходасевичем.

«Ничего не вернуть. И зачем возвращать?..» (стр. 338).— Впервые в *Возр.* 1949, № 1 (янв.).

«На грани таянья и льда...» (стр. 339).— *Зеленоватая звезда* — скрытая цитата из ст-ния О. Мандельштама «На страшной высоте блуждающий огонь...» (1918). *К невесте тянется жених, // И звезды падают на них...*— ср. ст-ния А. Штейгера «Все в этом мире случается...» и «Священник ведет новобрачных...», составляющие цикл «Свадьба» (1939). Первое из них заканчивается строкой: «Падает с неба звезда».

«Отвратительнейший шум на свете...» (стр. 340).— В *Портр* вторая строка читалась: «Гул аэроплана на рассвете». *Авион (фр.)* — самолет; этим словом часто пользовались русские эмигранты, жившие во Франции.

«Лунатик в пустоту глядит...» (стр. 341).— Впервые в *НЖ*, 1949, № 22. Вторая строфа, возможно, перекликается со ст-нием Н. Гумилева «В пути» (1908) и намекает на судьбу самого Гумилева.

«Летний вечер прозрачный и грузный...» (стр. 342).— Впервые в *Возр*, 1950, № 39 (май-июнь). *...«Райских звезд»...*— возможно, отсылка к циклу Ф. Сологуба «Звезда Маир».

«Стоило ли этого счастье безрассудное?..» (стр. 343).— Ср. со ст-нием А. С. Пушкина «Редеет облаков летучая гряда...» (1820).

«Если бы жить... Только бы жить...» (стр. 346).— *Ухнем, дубинушка...*— из песни «Дубинушка» (сл. Г. Мачтета).

«С бесчеловечною судьбой...» (стр. 347).— Впервые в *Ор*.

«В дыму, в огне, в сияньи, в кружевах...» (стр. 348).— В *Портр* вторая строка выглядела так: «О, в кружевах и страусовых перьях!» Переработка ст-ния, впервые опубликованного в *Зв*, 1926, 16 мая, № 172. Первоначальный вариант:

В дыму, в огне, в сияньи, в кружевах,
Да — в кружевах и в страусовых перьях,
В сухих цветах, в бессмысленных словах,
И в самых грешных снах, и в детских суеверьях...
— Так женщина смеется на балу.
— Так беззаконная звезда летит во мглу.
Ночь. И асфальт блестит. И дождь идет.
И сыростью от Сены тянет.

И вдруг покажется, что это вот
Единственное, что, быть может, не обманет,
Единственное, что не может обмануть...
— Дай руку. Навсегда. Не позабудь...

Ср. в *РА*: «Дайте руку, неизвестный друг».

«Восточные поэты пели...» (стр. 349).— Ср. со ст-нием «Где ты, Селим, и где твоя Заира...» в *С*.

«В конце концов судьба любая...» (стр. 352).— Впервые в *Ор*.

«В тишине вздохнула жаба...» (стр. 354).— Впервые в *НЖ*, 1949, № 22. Ст-ние служит как бы эпиграфом ко всему циклу «Rayon de rayonne»: «бессмыслица искусства» в дальнейшем становится бессмыслицей, абсурдностью бытия как такового.

«Портной обновочку утюжит...» (стр. 355).— Переставив ударение в собственной фамилии, автор добивается неожиданного эффекта — безликий «Ивано́в», носитель самой распространенной русской фамилии, превращается в символ «любого человека».

«Все чаще эти обьявленья...» (стр. 356).— Фамилия «Иванов» вновь обыграна. «*Сегодня ты, а завтра я!*» — из оперы П. И. Чайковского «Пиковая дама» (1890, либретто М. И. Чайковского). *Ледяной поход* — чаще всего так называли крайне тяжелый переход армии Деникина с Дона на Кубань зимой 1918 г. Иногда так называли и сибирский поход войск генерала Колчака (правда, в этом случае чаще встречается термин «ледовый поход»).

«По улице уносит стружки...» (стр. 358).— Эпиграф взят из комедии Д. И. Фонвизина «Корион» (акт 1, сцена 1). *Как скучно жить на этом свете...* — неточная цитата из «Повести о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» Н. В. Гоголя.

«Зазеваешься, мечтая...» (стр. 359).— Впервые в *Возр*, 1949, № 1.

«Добровольно, до срока...» (стр. 361).— Ритмически и тематически варьируется ст-ние «Синеватое облако...», вошедшее в *Р*.

«В пышном доме графа Зубова...» (стр. 362).— Впервые в *Возр*, 1950, № 39 (май-июнь). *Зубов* Валентин Платонович (1884—1969) — поэт, меценат, открывший в Петербурге Институт истории искусств.

«Как вы когда-то разборчивы были...» (стр. 363).— В *Портр* эпиграфа не имело: тогда Г. Иванов был в ссоре с Адамовичем (примирение их состоялось лишь в октябре 1954 г.). В эпиграфе — последняя строфа ст-ния Г. Адамовича «Куртку потертую с беличьим мехом...», впервые напечатанного в *ПбСб*. Предположение Н. А. Богомолова, что ст-ние обращено к Г. Иванову, представляется сомнительным, так как ничто в тексте ст-ния этого не подтверждает:

Куртку потертую с беличьим мехом
Как мне забыть?
Голос ленивый небесным ли эхом
Мне заглушить?

Ночью настойчиво бьется ненастье
В шаткую дверь,
Гасит свечу. Мое бедное счастье,
Где ты теперь?

Имя тебе непонятное дали.
Ты — забытье.
Или, точнее, цианистый калий
Имя твое.

Кроме того, «Куртка» в данной публикации входила в цикл из двух ст-ний, озаглавленный «Посвящение», а в первом ст-нии этого цикла («Уносит в реку белый снег — увы!..») ясно сказано, что у адресата «Посвящения» — «двухсложное простое имя» (в быту Иванова звали Жорж или Георгий).

«Голубизна чужого моря...» (стр. 364).— Впервые в *НЖ*, 1955, № 42, в подборке, озаглавленной «Дневник». В *Ст-58* попало во второй, «сюрреалистический» раздел из-за очевидной для читателя-эмигранта кощунственности финала: в ст-нии А. С. Пушкина «В часы забав иль праздной скуки...» (1830): «...И внемлет арфе серафима // В священном ужасе поэт».

«Что мне нравится — того я не имею...» (стр. 366).— Впервые в *НЖ*, 1953, № 33 (также в цикле «Дневник»).

«На полянке поутру...» (стр. 367).— Впервые в *НЖ*, 1954, № 38 (также в цикле «Дневник»). *Вертебральная колонна* — позвоночный столб. По поводу этого ст-ния находим следующие знаменательные строки в письме Романа Гуля Г. Иванову от 27 июля 1954 года (Г. Иванов, очевидно, послав ст-ние, затем передумал и требовал его не печатать): «...Ну вот мы с вами и в конфликте. Как скоро прерывается наша дружба! И все из-за камбалы и кенгуру...

Нет, нет, маэстро, камбалу
Я не отдам Вам в кабалу!
Иду к старейшему еврею,
Он открывает Каббалу
И, чудодейственно лелея,
Нам дарит Вашу камбалу!

В чем же дело? Да в том, что я был очень рад, что Вы сняли многое из первого присыла, но — кенгуру и камбалу — не отдаю... Допустим, Вы правы. Но в кенгуру такое «милейшее уродство» и такое «веселое озорство» — что убивать их никак невозможно. Протестую. Хочу видеть их напечатанными. К тому же «вертебральную-то колонну» надо же подарить русской литературе, до этого ее у нее не было» (*НЖ*, 1980, № 140).

«Торжественно кончается весна...» (стр. 370).— Впервые в *НЖ*, 1952, № 31. *Что было солью каторжной земли...*— Имеется в виду обращение Христа к апостолам: «Вы — соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою?» (Матф., V: 13). Обыграна также примета: просыпанная соль приносит несчастье. Это одно из сравнительно немногочисленных в послевоенной поэзии Иванова ст-ний с явной политической окраской (что для эмигранта первой волны — крайняя редкость). В *Возр*, 1949, № 5, Г. Иванов опубликовал ст-ние, позже не вошедшее в сборники, начинавшееся знаменательной строфой:

Россия тридцать лет живет в тюрьме,
На Соловках или на Колыме.
И лишь на Колыме и Соловках
Россия та, что будет жить в веках.

«Калитка закрылась со скрипом...» (стр. 371).— Впервые в *НЖ*, 1954, № 38.

«Эмалевый крестик в петлице...» (стр. 372).— Впервые в *НЖ*, 1951, № 25. Ст-ние представляет собой точное описание дореволюционной открытки с изображением царской семьи (издание «Общины Св. Евгении»). Открытка была воспроизведена в *Возр*, 1949, № 4; Г. Иванов в этом журнале печатался и номер этот, несомненно, видел.

«Смилостивилась погода...» (стр. 374).— Впервые в *НЖ*, 1957, № 51. *«Те» иль «эти»?..*— ср. со ст-нием И. Анненского «То и Это» из кн. «Кипарисовый ларец» и самого Г. Иванова «Так иль этак».

«Желтофиоль» — похоже на виолу...» (стр. 375).— Впервые в *НЖ*, 1954, № 38. *Друг друга отражают зеркала...*— автоцитата из одноименного ст-ния. «*...Оставь меня. Мне ложе стелит скука!*» — из ст-ния И. Анненского «О нет, не стан...» (1906). У Анненского слово «скука» писалось с заглавной буквы.

«Этой жизни нелепость и нежность...» (стр. 376).— Впервые в *НЖ*, 1951, № 25.

«Мелодия становится цветком...» (стр. 377).— Впервые — там же. Историю написания этого ст-ния рассказывает И. Одоевцева в книге «На берегах Сены» (1983). *Пустыня внемлет Богу* — цитата из ст-ния М. Ю. Лермонтова «Выхожу один я на дорогу...» (1841).

«Полутона рябины и малины...» (стр. 378).— Впервые в *НЖ*, 1955, № 42. *Марков Владимир* Федорович (род. в 1920) — поэт и искусствовед, автор книг стихотворений «Стихи» (1947), «Гурилевские романсы» (1960), ныне проживающий в Калифорнии. Автор статьи «Русские цитатные поэты (П. А. Вяземский и Г. Иванов)» (To honor Roman Jacobson. The Hague — Paris, 1967, vol. 2). *И входит гость в Коринф многоколонный...*— почти точная цитата из ст-ния И.-В. Гете «Коринфская невеста» в переводе А. К. Толстого (1867). *Трепетные лани* — аллюзия на строки Пушкина из «Полтавы»: «В одну телегу впрячь не можно // Коня и трепетную лань...» *Эвлега* — так называлось раннее ст-ние А. С. Пушкина, представлявшее собою вольный перевод отрывка из поэмы Э. Парни «Иснель и Аслега». *На Грузию ложится мгла ночная...*— Г. Иванов очень часто цитирует эту строчку из пушкинского ст-ния «На холмах Грузии лежит ночная мгла...» (1829) — особенно в *РА* — и всегда подчеркнуто искаженно. *Пятигорск* — место гибели на дуэли М. Ю. Лермонтова. *Как хороши, как свежи были розы* — цитата из ст-ния И. П. Мятлева «Розы» (1834), ставшая знаменитой благодаря ст-нию в прозе И. С. Тургенева. О прочих цитатах в этом ст-нии подробно см. упомянутую статью В. Ф. Маркова.

«Солнце село, и краски погасли...» (стр. 379).— Впервые в *НЖ*, 1951, № 25. *Прекрасная Дама* — здесь прослеживается не только аллюзия к названию сб. ст-ний А. Блока «Стихи о Прекрасной даме»

и к «Балладе» И. Анненского (1909), но и ирония над «прекрасными дамами» всей европейской лирики.

«Стало тревожно-прохладно...» (стр. 380).— Впервые в *НЖ*, 1956, № 44.

«Так, занимаясь пустяками...» (стр. 381).— Впервые — там же. *Мы чудный мир воссоздаем...*— отсылка к ст-нию В. Ходасевича «Звезды» (1925). *К небожителям на пир...*— ср. со ст-нием Ф. И. Тютчева «Цицерон» (1829), позднее процитированным Г. Ивановым и в «Посмертном дневнике» («А что такое вдохновенье?..»).

«Нет в России даже дорогих могил...» (стр. 382).— Впервые — там же. *Гуль Роман* Борисович (1896—1986) — писатель, мемуарист, литературный критик, корреспондент Г. Иванова, автор вступительной статьи к *Ст-58*.

«Еще я нахожу очарованье...» (стр. 383).— Впервые в *НЖ*, 1951, № 25.

«Полу-жалость. Полу-отвращенье...» (стр. 384).— Впервые в *НЖ*, 1953, № 33. *...Скуке мирового безобразья!* — Ср. с основными темами *РА*.

«Как обидно — чудным даром...» (стр. 385).— Впервые в *НЖ*, 1957, № 48.

«Иду — и думаю о разном...» (стр. 386).— Впервые в *НЖ*, 1957, № 42. Несомненная перекличка со ст-нием В. Ходасевича «Смотрю в окно — и презираю...» (1921).

«Свободен путь под Фермопилами...» (стр. 387).— Впервые — там же. *Фермопилы* — узкий горный проход, место гибели во время греко-персидской войны (480 г. до н. э.) отряда спартанцев во главе с царем Леонидом. *Леонтьев* Константин Николаевич (1831—1891) — религиозный философ, писатель и публицист. *Пройдя меж трезвыми и пьяными...*— Г. Иванов варьирует строки из ст-ния А. Блока «Незнакомка» (1906).

«Я хотел бы улыбнуться...» (стр. 388).— Впервые в *НЖ*, 1951, № 25. В ст-нии видны явные реминисценции из *РА*.

«Уплывают маленькие ялики...» (стр. 391).— Образ «отплытия» в этих поздних стихах Иванова уже почти окарикатурен.

«Четверть века прошло за границей...» (стр. 395).— Впервые в *НЖ*, 1951, № 25. В эпиграфе — начальные строки ст-ния О. Мандельштама «В Петербурге мы сойдемся снова...» (1920). *Лучезарное небо над Ниццей...*—ср. в ст-нии Ф. И. Тютчева: «О, этот Юг, о, эта Ницца!.. // О, как их блеск меня тревожит!..» (Ср. мотив «блеска» в тематически близком ст-нии Г. Иванова «Торжественно кончается весна...»).

«Эти сумерки вечерние...» (стр. 396).— Впервые в *НЖ*, 1954, № 38. *В чайной «русского народа»...*— так назывались заведения, в которых собирались черносотенцы (члены «Союза Михаила Архангела»). Официально они выдвигали, кроме прочих, лозунг борьбы за трезвость среди русского народа. *Внутреннего* — т. е. «внутреннего врага» — евреев и масонов, которых «союзники» считали виновными во всех бедах России. См. очерк «Невский проспект» (т. 3 наст. изд.).

«Белая лошадь бредет без упряжки...» (стр. 401).— Впервые в *ЛС*. Снова прослеживаются аллюзии на стихи Ходасевича периода «Европейской ночи».

«Нечего тебе тревожиться...» (стр. 402).— Впервые в *НЖ*, 1957, № 50. *Успенское, Волково* — петербургские кладбища. *Голодай* — остров в дельте Невы (ныне о. Декабристов), на котором, как традиционно считалось до недавнего времени, были похоронены тела казненных декабристов. *В прорубь на Неве* было спущено тело убитого Распутина.

«Закат в полнеба занесен...» (стр. 406).— Впервые в *НЖ*, 1956, № 44. *Виссон* — дорогая белая (или окрашенная в пурпур) очень тонкая материя. *Леноре снится страшный сон...* — почти точная цитата из баллады Г.-А. Бюргера «Ленора» в переводе В. А. Жуковского (1831).

«Насладись, пока не поздно...» (стр. 408).— Впервые в *НЖ*, 1953, № 43. *Без речей и без венков* — «традиционная формула похоронного объявления на Западе» (Н. А. Богомолов).

«Мне весна ничего не сказала...» (стр. 410).— Впервые в *НЖ*, 1956, № 44. *Только слабо блеснула корона...* — вероятно, отсылка к ст-нию О. Мандельштама «О свободе небывалой...» (1915), четвертую строфу которого Г. Иванов цитирует в *ПЗ*. Вторая строфа ст-ния Мандельштама: «Только я мою корону // Возлагаю на тебя, // Чтоб свободе, как закону, // Подчинился ты, любя...».

«Почти не видно человека...» (стр. 411).— Впервые в *НЖ*, 1951, № 25. *Как русский Демон на Кавказе...* — имеется в виду Лермонтов. *Валансьен* — город, где родился и долгое время жил Ватто.

«Теперь тебя не уничтожат...» (стр. 412).— Впервые в *Возр*, 1949, № 5 (сентябрь-октябрь). В автографе в частном собрании в Париже имеется другой вариант ст-ния, начинающийся следующими двумя строфами:

Над облаками и веками
Бессмертной музыки хвала —
Россия русскими руками
Себя спасла и мир спасла.

Сияет солнце, вьется знамя,
И те же вещие слова:
«Ребята, не Москва ль за нами?»
Нет, много больше, чем Москва!

К. Померанцев, склонный исправлять тексты Г. Иванова «по памяти» (ибо действительно был знаком с Г. Ивановым), утверждал в «Континенте» (№ 43, 1982, с. 495), что это — отдельное ст-ние, написанное в мае 1945 г. и озаглавленное «На взятие Берлина русскими»: «...«На взятие Берлина русскими» было написано в мае 1945 г. и *записано мною после того, как Георгий Иванов мне его прочитал*» (выделено мною.— *Г. М.*). Возможно, что существует и такое чтение этих двух строф — но без них само ст-ние «Теперь тебя не уничтожат...» становится ребусом, а это для поэтики Г. Иванова не характерно. В полном же варианте чтение первых строк однозначно: «Тебя» — Москву, «Безумный вождь» — Гитлер.

«Ветер с Невы. Леденеющий март...» (стр. 413).— Впервые в *Оп*, 1953, № 1. Н. А. Богомолов в *ГИИ* пишет, что *В черной шинели с погонами синими*—форма Кадетского корпуса, в котором учился Г. Иванов. Он же отмечает, что «в дни, когда император находился в Петербурге, над Зимним дворцом поднимался черно-желтый флаг».

«Просил. Но никто не помог...» (стр. 414).— Впервые в *ЛС*. *И вспомнил несчастный дурак*...—ср. со ст-нием В. Ходасевича «Окна во двор» (1924): «Несчастный дурак в колодце двора...» В автографе этого ст-ния, хранящемся в ЦГАЛИ, последняя строка иная: «Цыганское тра-ля-ля-ля» и девятая строка—«А только какой-то кабак».

«Бредет старик на рыбный рынок...» (стр. 415).— Впервые в *НЖ*, 1957, № 50. *Врангель* Николай Николаевич (1880—1915)—искусствовед, критик, сотрудник журнала «Аполлон».

«Я люблю безнадежный покой...» (стр. 419).— Впервые в *НЖ*, 1954, № 38. «Программное» ст-ние позднего периода творчества Г. Иванова, декларирующего свой окончательный разрыв с эстетикой акмеизма; в то же время это как бы реприза ст-ния «Я люблю» И. Анненского, которого акмеисты считали своим предшественником и учителем, но которого Г. Иванов здесь противопоставляет основателю акмеизма Гумилеву. *Песни без слов* («Романсы без слов»)—название книги стихотворений Поля Верлена, которого переводил Анненский (ср. «Романс без музыки» из книги Анненского «Кипарисовый ларец»).

«Если бы я мог забыться...» (стр. 421).— Впервые в *НЖ*, 1951, № 25. *Но—как Лермонтову снилось*...—ср. ст-ние М. Ю. Лермонтова «Выхожу один я на дорогу...» (1841).

«Мне больше не страшно. Мне томно...» (стр. 422).— Впервые в *НЖ*, 1952, № 31. В журнальной публ. имело третью строфу:

...Я вижу со сцены—к партеру
Сиянье... Жизель... облака...
Отплытье на остров Цитеру,
Где нас поджидала че-ка.

«Чем дольше живу я, тем менее...» (стр. 424).— Впервые в *НЖ*, 1953, № 33. Последние строки ст-ния имеют вполне конкретное значение: в своих воспоминаниях Н. Н. Берберова пишет, как многие из эмигрантов мечтали о том, чтобы вернуться в СССР, отсидеть срок в лагере, а потом попробовать устроиться на какую-нибудь «интеллигентную» работу.

«Листья падали, падали, падали...» (стр. 429).— Впервые в *НЖ*, 1955, № 42. Н. А. Богомолов отмечает, что здесь имеется в виду последняя молитва чина православной панихиды: «Во блаженном успении вечный покой подаждь, Господи, усопшим рабом Твоим...»

«Все представляю в блаженном тумане я...» (стр. 431).— Впервые в *Оп*, 1953, № 1. *«Бедные люди»*—повесть Ф. М. Достоевского (1846). В. Ф. Марков в статье «Русские цитатные поэты» пишет, что фраза «Бедные люди—пример тавтологии» взята Г. Ивановым из книги Гр. Ландау «Эпиграфы» (Берлин, 1927).

«Не обманывают только сны...» (стр. 432).— Впервые в *ЛС*, № 3. *...снится... Мне — моя последняя мечта,// Неосуществимая — покой...*— возможно, отголосок блоковского «И вечный бой. Покой нам только снится...» («На поле Куликовом», 1908).

«Мы не молоды. Но и не стары...» (стр. 436).— Впервые в *НЖ*, 1951, № 25. Ср. со ст-нием «В тринадцатом году, еще не понимая...».

«Как все бесцветно, все безвкусно...» (стр. 437).— Впервые — там же. *Как будто вспоминает Врубель...*— Врубелю Михаилу Александровичу (1856—1910) принадлежат несколько вариантов картины «Демон», а также многочисленные иллюстрации к произведениям Лермонтова (1890—1891).

«Ты не расслышала, а я не повторил...» (стр. 438).— Впервые в *НЖ*, 1955, № 42. Посвящено (как и шесть последующих ст-ний) Одоевцевой Ирине Владимировне (1895? — 1990), которой, впрочем, посвящена и вся книга. Эпиграф — из ст-ния Г. Иванова «Не о любви прошу...» (*С*).

«Распыленный мильоном мельчайших частиц...» (стр. 439).— Впервые в *НЖ*, 1954, № 38. *Драгоценные плечи твои...*— автоцитата из ст-ния «Эоловой арфой вздыхает печаль...» (*С*).

«Может быть, умру я в Ницце...» (стр. 442).— Впервые — там же. Эпиграф — из ст-ния И. Анненского «Тоска припоминания» (1904).

«Накипевшая за годы...» (стр. 447).— Впервые в *НЖ*, 1957, № 51. *Специмен* (от *лат.* specimen) — образец, эталон. *...«мудрости земной»...*— возможно, цитата из второй части «Фауста» И.-В. Гете (перевод Н. Холодковского).

«Туман. Передо мной дорога...» (стр. 448).— Впервые — там же. *Без гонорара, без короны...*— ср. с финалом ст-ния «Мне весна ничего не сказала...». *Стихи и звезды остаются,// А остальное — все равно!* — ср. со ст-нием, открывающим *Р*,— «Над закатами и розами...».

«Отвлеченной сложностью персидского ковра...» (стр. 450).— Впервые — там же. *Под прозрачно-призрачной верленовской луной...*— см. комм. к ст-нию «Луна взошла совсем как у Верлена...» в *Л*.

СТИХОТВОРЕНИЯ, ИСКЛЮЧЕННЫЕ ИЗ КОРПУСА АВТОРСКИХ СБОРНИКОВ ПРИ ПЕРЕИЗДАНИИ

В раздел вошли лишь те стихотворения, которые Г. Иванов опустил при пересоставлении своих книг за рубежом. В него не включены стихотворения *ООЦ-1*, *Г*, *ПС* и *В-1*, не входившие в послереволюционные книги Г. Иванова. Мы воспроизводим три стихотворения из *С-1*, не включенные в *С-2*, и четыре стихотворения из *Портр*, опущенные в *Ст-58*.

«Где отцветают розы, где горит...» (стр. 453).— Впервые в *С-1*. *Источник плещется и говорит// О том, что будет, и о том, что было...* — видимо, речь идет об источнике мудрости, который, по древнескандинавскому мифу, охраняет великан Мимир. Третья стро-

фа перекликается с первой строфой ст-ния «Где ты, Селим, и где твоя Заира...», открывающего *С.*

Тучкова набережная (стр. 454).— Впервые — там же. *Там Бирона дворец...*— Г. Иванов допустил ошибку: «В конце XIX века, когда первоначальное назначение здания (на Тучковом буяне.— *Г. М.*) было забыто, его считали дворцом Бирона. В действительности это был склад, предназначенный для хранения пеньки, экспортируемой за границу» (Памятники архитектуры Ленинграда. Л., 1976, с. 274).

Павловский офицер (стр. 455).— Впервые — там же. *Инженерный* (Михайловский) *замок* построен по проекту В. И. Баженова в Третьем Летнем саду в 1800 г. *Курносое лицо* — имеется в виду характерная внешность Павла I.

«Я не стал ни лучше и ни хуже...» (стр. 456).— Впервые в *Портр.*

«Что ж, поэтом долго ли родиться...» (стр. 456).— Впервые — там же.

«Шаг направо. Два налево...» (стр. 457).— Впервые — там же. *Улыбнитесь, королева...*— видимо, Мария-Антуанетта или Мария Стюарт.

«Остановиться на мгновенье...» (стр. 458).— Впервые — там же. Ст-ние тесно связано с книгой Ф. Ницше «Так говорил Заратустра». Укажем, в частности, на ницшеанский мотив «возвращения всех вещей» во второй строфе и на идею «слиянья счастья и страданья» — одну из основных в философии Заратустры.

СТИХОТВОРЕНИЯ, НЕ ВХОДИВШИЕ В ПРИЖИЗНЕННЫЕ СБОРНИКИ

Г. Иванову, по-видимому, был дорог принцип создания книги стихов как единого целого, и все, что не удовлетворяло идее создания каждой конкретной книги, безжалостно отсекалось. Тем не менее среди «невошедшего» немало весьма совершенных стихотворений. Из нескольких сотен разысканных на сегодняшний день «невошедших» стихотворений составителем отобраны более ста, существенно дополняющих творческий облик Иванова. Сознательно не включены шуточные стихи.

Раздел состоит как бы из трех частей. Первую составляют ранние стихи Иванова, рассыпанные по многочисленным дореволюционным периодическим изданиям, сборникам, альманахам, и небольшое количество произведений, публикуемых по автографам. Вторая часть состоит из стихов первых послереволюционных лет и краткого «берлинского» периода: здесь нужно отметить публикации в альманахах *ЦП* (особенно четвертом — берлинском) и других, вышедших в то же время. В этих стихотворениях сильны акмеистические традиции (см. программное стихотворение «Мы из каменных глыб создаем города...»). Наконец, наибольшую по объему третью часть данного раздела составляют стихи, написанные во Франции.

Объявления (стр. 461).— Впервые — «Шиповник», 1911, № 6.

Песенки (стр. 462). **1. Приказчичья. 2. Девичья.**— Впервые в *Нжг*, 1912, 8/21 авг.

За городом (стр. 464).— Впервые — там же, 1912, 11/24 авг.

Утром в лесу (стр. 465).— Впервые — «Рубикон», 1914, № 3. *Хлоя* — традиционное имя девушки в буколической поэзии. Возможно, что под именем Хлои в поэзии Иванова фигурирует его первая жена, Габриэль Тернизьен (которой посвящен *В*-2). Есть все основания предполагать, что именно ее (профессиональную танцовщицу) имел в виду Н. Гумилев в ст-нии, посвященном Г. Иванову:

Милый мальчик, томный, томный,
Помни — Хлои больше нет.
Хлоя сделалась нескромной,
Ею славится балет.

Пляшет нимфой, пляшет Айшей
И грассирует «Ca y est».
Будь смелей и подражай же
Кавалеру де Грие.

Пей вино, простись с тоскою,
И заманчиво-легко
Ты добудешь — прежде Хлою,
А теперь — Манон Леско.

Ст-ние Гумилева датируется 1912 годом, тогда же, судя по сохранившемуся в ЦГАЛИ автографу, было написано и ст-ние Г. Иванова.

«Канарейка в некрашеной клетке...» (стр. 466).— Публикации неизвестны. Печатается по автографу: ЦГАЛИ, ф. 2155, оп. 1, е.х. 2.

«Я вспомнил тот фонтан...» (стр. 467).— Печатается по тексту из того же фонда, что и предыдущее ст-ние.

Луна — как пенящийся кубок...» (стр. 468).— ЦГАЛИ, ф. 487, оп. 1, е.х. 52, в недатированном письме к А. Д. Скалдину.

«Еще с Адмиралтейскою иглой...» (стр. 469).— Там же.

Кинематограф (стр. 470).— Там же. *Террайль* — Понсон дю Террайль Пьер Алексис (1829—1871) — автор серии авантюрных романов «Похождения Рокамболя».

Озеро (стр. 471).— Там же. *Что все подвластно Черному Царю...* — т. е. «Князю тьмы», дьяволу.

Акростих Ларисе Рейснер (стр. 472).— Прижизненная публикация не найдена. Печатается по автографу в собрании Л. М. Турчинского (Москва).

«Снега буреют, тая...» (стр. 473).— Впервые в *Лук*, 1915, № 11. Стилистически примыкает к некоторым ст-ниям *Л* («Опять сияют масляной...» и др.), в которых ощутимо влияние стихов С. Городецкого из книги «Ярь».

«Люблю рассветное сиянье...» (стр. 475).— Впервые в *Лук*, 1915, № 11.

«Снастей и мачт узор железный...» (стр. 476).— Впервые в *Ог*, 1915, № 18.

Петроградские волшебства (стр. 477).— Впервые в *Лук*, 1915, № 21. *...редеет // Янтарных облаков гряда...*— перефразированная строка А. С. Пушкина («Редеет облаков летучая гряда...», 1820). *Монферран* Огюст Рикар де (1786—1858)— архитектор, разработавший в 1829 г. проект памятника на Дворцовой площади.

У памятника Петра (стр. 479).— Впервые в *Лук*, 1915, № 37. *Безмолвны сфинксы над Невою...*— имеются в виду два египетских сфинкса, украшающих пристань напротив Академии художеств.

«Мороз и солнце, опять, опять...» (стр. 480).— Впервые в *Лук*, 1916, № 2. Ср. со ст-нием А. С. Пушкина «Зимнее утро» (1829).

Мелодия (стр. 481).— Впервые в *Ог*, 1916, № 19. *Я снова вижу Сафо тень,// Целующей Фаона...*— имеется в виду легенда о любви древнегреческой поэтессы Сафо к юноше Фаону (см., например, картину Ж.-Л. Давида (1748—1825) «Сафо и Фаон»).

Стихи о Петрограде (стр. 482).— Первое ст-ние — в *Лук*, 1916, № 47, второе и третье — в *Лук*, 1916, № 48. *Где герцог Бирон, кровью пьян...*— см. комм. к ст-нию «Тучкова набережная» в разделе «Стихотворения, исключенные из авторских сборников». *Наполеона Саламандра*— комета 1811 года, которую в России связывали с нашествием Наполеона.

Верхарн (стр. 486).— Впервые в *Лук*, 1916, № 50. Видимо, единственное ст-ние Г. Иванова, содержание которого — патетическое повествование биографического плана; бельгийский поэт Эмиль Верхарн (1855—1916) действительно погиб под колесами поезда.

«Когда впервые я услышал голос...» (стр. 488).— Впервые опубликовано В. Крейдом в журнале «Звезда», 1993, № 1 — по альбому поэтессы Анны Дмитриевны Радловой (1891—1949).

«Пушкина, двадцатые годы...» (стр. 489).— Впервые в *Кам*. *Судейкин* Сергей Юрьевич (1882—1945)— художник, график, декоратор. *Вспомнив строчку расстрелянного поэта...*— поскольку ст-ние написано, очевидно, в 1919 г. (и тогда же опубликовано), то наиболее вероятно, что речь идет о Леониде Каннегиссере, чью строчку «Керенский на белом коне» (ст-ние «Смотр», 1917), видимо, и вспоминает «лирический герой» Г. Иванова.

«Мы дышим предчувствием снега и первых морозов...» (стр. 490).— Впервые в *ЛитМ*. *Дорэн*— фирма, выпускавшая, в частности, губную помаду. *Эреб*— в древнегреческой мифологии персонификация мрака, сын Хаоса и брат Ночи.

«Вздохни, вздохни еще, что душу взволновать...» (стр. 491).— Впервые в *ПбСб*. Написано, возможно, «в ответ» на ст-ние О. Мандельштама «Я слово позабыл, что я хотел сказать...» (1920), мотивы которого Г. Иванов трансформирует: «А смертным власть дана любить и узнавать...» превращается в «И обреченные любить и умирать...», античность — в средневековье, ласточка-Антигона — в душу-Психею, ночь становится утром и т. д. *Черный парус* (знак смерти)— мотив кельтской легенды о Тристане и Изольде.

«Охотник веселый прицелится...» (стр. 492).— Впервые — «Жизнь искусства», 1923, № 1; «Молодая Россия», Берлин, 1923. Возможно,

имела место и более ранняя публикация, ибо Э. Голлербах в статье «Дары поэтов» (альманах «Веретено», кн. 1, Берлин, 1922) цитирует последнюю строфу данного ст-ния в незначительно измененном виде.

«Мы из каменных глыб создаем города...» (стр. 493).— Впервые в *ЦП-4*. В первых двух строках — отзвуки сборника О. Мандельштама «Камень» (который Г. Иванов до конца жизни считал лучшей книгой Мандельштама). *...поэт не Орфей...*— один из отголосков зарождающейся в эти годы полемики Г. Иванова с В. Ходасевичем, в поэзии которого Орфей — постоянный образ поэта. *А во фраке, с хлыстом, укротитель зверей // На залитой искусственным светом арене...*— отголосок ст-ния Н. Гумилева «Укротитель зверей» из сб. «Чужое небо». Антитезой данному ст-нию может служить восьмистишие Г. Иванова из *Ст-58* — «Я люблю безнадежный покой...».

«Мы живем на круглой или плоской...» (стр. 494).— Впервые — там же.

Роза (стр. 495).— Впервые — там же. Ср. третью строфу с отсеченной концовкой ст-ния «Эоловой арфой вздыхает печаль...» из *С*, с последней строфой ст-ния «Петергоф» из той же книги.

«Прорезываются почки...» (стр. 496).— Впервые — там же. В. Крейд в *Нсб* предполагает, что ст-ние навеяно мотивами А. Тинякова («Любо мне, плевку-плевочку...»). Однако здесь нет тиняковского цинизма и скорее просматриваются будущие темы *РА*.

Разговор (стр. 497).— Впервые — там же. Будущие мотивы *РА* («скука» и самоубийство) здесь несомненны.

«Это качается сосна...» (стр. 498).— Впервые — там же.

«Мне грустно такими ночами...» (стр. 499).— Впервые — «Эпопея», 1923, № 4.

«Как осужденные, потерянные души...» (стр. 500).— Впервые в *Зв*, 1924, 30 июня. Последней строфой, немного ее изменив, Г. Иванов завершает свое позднее эссе «Закат над Петербургом».

«Если все, для чего мы росли...» (стр. 501).— Впервые в *Зв*, 1924, 20 окт. Вторая строфа вынесена в эпиграф к стихотворному сборнику А. Штейгера «Этот день» (Париж, 1928).

«Все тот же мир. Но скука входит...» (стр. 502).— Впервые в *Зв*, 1924, 20 окт. *«Не искушай меня без нужды...»* — начальные строки ст-ния Е. А. Баратынского «Разуверение» (1821).

«Мы только гости на пиру чужом...» (стр. 503).— Впервые в *Зв*, 1925, 23 марта, № 112. *«Глядя на луч пурпурного заката»* — строка из романса А. Оппеля на стихи П. Козлова «Забыли вы» (1888).

«Еще мы говорим о славе, о искусстве...» (стр. 504).— Впервые в *Д*, Берлин — Париж, 1925, 1 нояб., № 842.

«Ужели все мечтать, ужели все надеяться...» (стр. 505).— Впервые в *ЦП-4*.

«Закрыта жарко печка...» (стр. 506).— Впервые — там же.

«Забудут и отчаянье и нежность...» (стр. 507).— Впервые в *Блг*, кн. 1, январь-февраль 1926 г. *Сухой венок на ветре будет биться...*— ср. в ст-нии Андрея Белого «Друзьям» (1907): «На кресте и зимой и летом // Мой фарфоровый бьется венок...».

«Сияет ночь, и парус голубеет...» (стр. 508).— Впервые в *Зв*, 1926, № 156.

«Я не хочу быть куклой восковой...» (стр. 509).— Впервые в *Д*, 1926, 30 мая (№ 1019).

«На старых могилах растут полевые цветы...» (стр. 510).— Впервые в *Д*, 1926, 18 июля (№ 1057). *Жизель* — героиня балета А. Адана «Жизель». Строки 5—6 почти текстуально совпадают со ст-нием «Над розовым морем вставала луна...» (из *ООЦ-2*), впервые опубликованным несколько ранее данного.

«Скажи, мой друг, скажи...» (стр. 511).— Впервые — «Новый дом», Париж, 1927, № 3.

«Серебряный кораблик...» (стр. 512).— Впервые в *Зв*, 1927, № 5.

«Угрозы ни к чему. Слезами не помочь...» (стр. 513).— Впервые в *СЗ*, 1927, № 31. *Быть может, жизнь моя опять приснится мне...* — Ср. с названием ненаписанной книги мемуаров Г. Иванова «Жизнь, которая мне снилась».

«Это только бессмысленный рай...» (стр. 514).— Впервые в *СЗ*, 1930, № 44. *Золотые сады Гесперид* — см. комм. к ст-нию «Погляди, бледно-синее небо...» (*С*). То, что в *С* представало чуть ли не раем, теперь воспринимается как «Сияющий ад».

Разрозненные строфы (стр. 515).— Впервые в *Ч*, кн. 4, Париж, 1930—1931. В этой публикации цикл имел еще и седьмое ст-ние («Это звон бубенцов издалека...»), позднее вошедшее в *ООЦ-2*. *Бесполезною, черною розой горя!..* — ср. ст-ние А. Блока «В ресторане» («Я послал тебе черную розу в бокале...»). *«Догорели огни, облетели цветы»* — искаженная цитата из ст-ния С. Я. Надсона «Умерла моя муза...» (1885).

«Мир торжественный и томный...» (стр. 518).— Впервые в *СЗ*, 1932, № 48. *Черно-желтая заря* — цвета императорского штандарта в контексте ст-ния сконтаминированы с «зарей», в послереволюционном контексте нередко служившей «образом» новой жизни.

«Гаснет мир. Сияет вечер...» (стр. 519).— Впервые — там же. *Черным бархатом на плечи...* — отсылка к ст-нию О. Мандельштама «В Петербурге мы сойдемся снова...» (строка «В черном бархате всемирной пустоты»).

«Я люблю эти снежные горы...» (стр. 520).— Впервые в *СЗ*, 1932, № 50.

«Обледенелые миры...» (стр. 521).— Впервые — там же. «Правила игры» жизни уподоблены правилам игры в рулетку и расположению игровых полей.

Ямбы (стр. 522).— Впервые в *СЗ*, 1933, № 53.

«Она летит, весна чужая...» (стр. 523).— Впервые в *Ор*.

«Видишь мост? За этим мостом...» (стр. 524).— Впервые — «Русский сборник», Париж, кн. 1, 1946. *Где цветут левкои всегда...* — может быть, отсылка к ст-нию Ф. Сологуба «Царица Левкой» (сб. «Костер дорожный», 1922). *...Твой свет навсегда исчез...* — несомненная реминисценция из *РА*.

«Собиратели марок, эстеты...» (стр. 525).— Впервые — посмертно в *Возр*, 1958, № 83 (ноябрь).

«Ты протягиваешь руку...» (стр. 526).— Впервые опубликовано В. Крейдом в журнале «Звезда», 1993, № 1 — по недатированному письму (хранится в библиотеке Иллинойского университета, г. Урбана, США), адресованному поэтам Анне Семеновне Присмановой (1898—1960) и Александру Самсоновичу Гингеру (1897—1965).

«Уплывает в море рыбачий челнок...» (стр. 527).— Там же.

«Я не знал никогда ни любви, ни участья...» (стр. 528).— Впервые в *НЖ*, 1951, № 25.

«С пышно развевающимся флагом...» (стр. 529).— Впервые — там же. *Мертвые... не знают ни добра, ни зла...*— возможно, аллюзия на книгу Ф. Ницше «По ту сторону добра и зла». Ст-ния с ницшеанскими мотивами Г. Иванов в сборники не включал, а порою («Остановиться на мгновенье...») исключал при переиздании.

Стансы (стр. 530).— Впервые в *Возр*, 1957, № 64. В этой публ. под циклом пометка: «Первое стихотворение написано незадолго до смерти Сталина, второе — после его смерти. Георгий Иванов». Двенадцатая строка ст-ния «Судьба одних была страшна...» была заменена многоточием.

«На один восхитительный миг...» (стр. 532).— Впервые в *Оп*, 1953, № 1.

«Это было утром рано...» (стр. 533).— Впервые — там же. Эпиграф — из ст-ния О. Мандельштама «Что поют часы-кузнечик...» (1918).

«Как тридцать лет тому назад...» (стр. 534).— Впервые — там же. *Царица апельсинных корок...*— видимо, скончавшаяся в эмиграции поэтесса Мария Моравская (1889—1947), участница первого «Цеха поэтов», автор книги «Апельсинные корки. Стихи для детей» (СПб., 1914, переиздавалась и позднее). На эту книгу есть ранний отзыв Г. Иванова.

«История. Время. Пространство...» (стр. 535).— Впервые — там же.

«Мимозы солнечные ветки...» (стр. 536).— Впервые в *ЛС*, затем *НЖ*, 1955, № 42. Совершенно иной вариант ст-ния опубликовал К. Померанцев («Континент», № 33, 1982):

Дождя осенняя туманность,
Природы женское тепло.
А я живу — такая странность —
Живу и даже верю в зло.

Все это было, было, было,
Все это было, будет, бу...
Плетется рыжая кобыла,
Везет дрова, везет судьбу.

По утверждению К. Померанцева, автограф (или сделанная с голоса Г. Иванова запись) находился в тетради, подаренной ему Г. Ивановым (вместе с еще примерно тридцатью ст-ниями); судить об аутентичности варианта сейчас нет возможности. *Все это было, было, было...*— цитата из ст-ния А. Блока, начинающегося этой строкой (1909).

«Паспорт мой сгорел когда-то...» (стр. 537).— Впервые в *НЖ*, 1955, № 42. *Все равно, какой Иванов...*— ср. в *ПЗ*: «Кто же не знает *Вячеслава* Иванова!»

Пейзаж (стр. 538).— Впервые в *Оп*, 1955, № 5.

«Истории зловещий трюм...» (стр. 539).— Впервые в *НЖ*, 1955, № 42.

«Жизнь продолжается рассудку вопреки...» (стр. 540).— Впервые — там же. *Масонский заговор... Особенно евреи...*— В царствование Николая II получила широкое распространение версия о «жидо-масонском заговоре» против России. Этот миф, основанный на фальшивке — так называемых «Протоколах сионских мудрецов»,— усиленно пропагандировался со времени приближения к царской семье Григория Распутина. О действительной роли масонства в 1916—1917 гг. см.: Берберова Н. Люди и ложи. Нью-Йорк, 1986. *«Гиперборей»* — литературный журнал акмеистов и близких к ним творчески поэтов, непериодически выходивший в Петербурге накануне первой мировой войны.

«Слава, императорские троны...» (стр. 541).— Впервые — посмертно в «Альманахе 1981», Париж. *Задаетесь вы на макароны...*— происхождение этого загадочного выражения объясняется в мемуарах поэта-сатириконца А. П. Шполянского (Дона Аминадо) «Поезд на третьем пути» (Нью-Йорк, 1954). По его словам, «жаргонной формулой» «задаются на макароны» уличные мальчишки дразнили щеголеватых господ. *Выгарцует эдакий Керенский // На кобыле из папье-маше...*— Г. Иванов вновь, на этот раз пародийно, обыгрывает строку Л. Каннегиссера «Керенский на белом коне» (ср. ст-ние «Пушкина, двадцатые годы...»). *Железняк* (Железняков) Анатолий Григорьевич (1895—1919) — в январе 1918 г. начальник караула Таврического дворца. Именно он «предложил» депутатам Учредительного собрания покинуть дворец — т. е. просто разогнал таковое.

«Памяти провалы и пустоты...» (стр. 542).— Впервые в *НЖ*, 1956, № 44.

«Никому я не враг и не друг...» (стр. 543).— Впервые — там же.

«Построили и разорили Трою...» (стр. 544).— Впервые — там же. Первая строка — из ст-ния И. Одоевцевой «Всегда всему я здесь была чужою» (сб. «Двор чудес», 1922).

«Кавалергардский или Конный полк...» (стр. 545).— Впервые — там же.

«Повторяются дождик и снег...» (стр. 546).— Впервые — там же.

«И сорок лет спустя мы спорим...» (стр. 547).— В данном варианте впервые посмертно — *Возр*, 1959, № 85. *Гостинодворцы* — в Петрограде то же, что «охотнорядцы» в Москве, нарицательное имя купцов-черносотенцев.

«Стонет океан арктический...» (стр. 548).— Впервые — «Русская мысль», 1983, пасхальный номер.

«Упал крестоносец средь копий и дыма...» (стр. 549).— Ст-ние, как и два последующих, в первоначальном варианте опубликовано в альманахе «Круг» (Берлин, 1936) — там это были скорее наброски строф, чем законченные произведения. В *ВарТ-61* опубликованы

«предсмертные» варианты этих трех ст-ний, которые мы и приводим. *И львиное сердце...*— видимо, намек на английского короля Ричарда Львиное Сердце (1157—1199), погибшего в Третьем крестовом походе.

«Все на свете очень сложно...» (стр. 550).— Впервые — там же.

«Прозрачная ущербная луна...» (стр. 551).— Впервые — там же.

Посмертный дневник.

Этот цикл включает в себя стихотворения, созданные Г. Ивановым в 1958 году — непосредственно накануне смерти. К этому времени Иванов, уже тяжело больной, часто не мог даже записать стихи: большую часть их он диктовал Ирине Одоевцевой. Впоследствии этот цикл печатался отдельными подборками в разных номерах *НЖ*; некоторые стихотворения появились в *Возр, Оп* и «Русской мысли» (а также в *ВарТ-61*). Впервые «Посмертный дневник» был полностью опубликован в *СД* (в него вошли также шесть ранее не печатавшихся стихотворений, полученных составителями непосредственно от И. Одоевцевой).

В расположении стихотворений этого цикла не могло быть проявлено никакой «авторской воли». В *СД* их порядок соответствует в основном последовательности посмертных публикаций.

I. **«Александр Сергеевич, я о вас скучаю...»** (стр. 553).— Впервые в *НЖ*, 1958, № 54, как и четыре следующих ст-ния. *С вами посидеть бы, с вами б выпить чаю...* — ср. «Всю жизнь свою провел бы я // За Пушкиным и чашкой чая...» («В широких окнах сельский вид...» из *Л*).

III. **«Я жил как будто бы в тумане...»** (стр. 555).— *...в трансцендентальном плане...* (т. е. в нереальном мире) — ср. со ст-нием «Полутона рябины и малины...» (*Ст-58*).

IV. **«Мне уж не придется впредь...»** (стр. 556).— *Перед тем, как умереть...*— автоцитата из одноименного ст-ния (*Р*). *Пора, мой друг, пора!..*— начало ст-ния А. С. Пушкина (1836).

VI. **«А может быть, еще и не конец?..»** (стр. 558).— Впервые в *НЖ*, 1958, № 55, как и четыре следующих ст-ния. *Fosse commune* — общая могила *(фр.)*. *...в этом богомерзком Йере* — в городке Йер-ле-Пальмье во Франции Г. Иванов и И. Одоевцева жили в пансионате для престарелых.

IX. **«Аспазия, всегда Аспазия...»** (стр. 561).— *Аспазия* (ок. 470 до н. э.—?) — афинская гетера, жена Перикла. *Навзикая* — по «Одиссее», дочь царя феаков, которая помогла Одиссею возвратиться на Итаку. Последняя строфа («Вот елочка, а вот и белочка...» и далее) — видимо, к данному ст-нию отношения не имеет (ср. со ст-нием XXXII данного цикла).

X. **«Ночь, как Сахара, как ад, горяча...»** (стр. 562).— *Размахайчик* — см. *РА*. Поэт и критик А. Радашкевич в статье «Отповедь, проповедь и исповедь Размахайчика» («Русская мысль», 1988, 7 окт.) писал: «...зримым символом... жалости был для поэта верховный божок его домашнего звериного пантеона Размахайчик... которого он в задумчивости часто вычерчивал на своих рукописях и письмах...».

XI. **«Ночных часов тяжелый рой...»** (стр. 563).— Впервые в *НЖ*, 1959, № 56, как и восемь следующих ст-ний.

XII. **«На барабане б мне прогреметь...»** (стр. 564).— Ср. со многими ст-ниями *Ст-58*: «Рассказать обо всех мировых дураках...» и др.

XIV. **«Меня уносит океан...»** (стр. 566).— *Тимпан* — древний ударный музыкальный инструмент. Не исключена и игра слов (по-французски tympan — барабанная перепонка).

XV. **«Зачем, как шальные, свистят соловьи...»** (стр. 567).— *Драгоценные плечи твои...* — см. комм. к ст-ниям «Распыленный мильоном мельчайших частиц...» *(Ст-58)* и «Эоловой арфой вздыхает печаль...» *(С)*.

XVI. **«Все розы увяли. И пальма замерзла...»** (стр. 568).— Цитата из ст-ния М. Ю. Лермонтова («...И звезда с звездою говорит») здесь иронически переосмыслена.

XVIII. **«Побрили Кикапу в последний раз...»** (стр. 570).— Первые четыре строки — неточная цитата из ст-ния Т. Чурилина «Конец Кикапу» (Чурилин Т. Весна после смерти. М., 1915). В *НЖ* к этому ст-нию сделана сноска, повторенная в *СД*: «Стихотворение художника Н. К. Чурляниса (1875—1911)». Видимо, Г. Иванов «не повторил», а кто-то «не расслышал», и в результате записи с голоса «Чурилин» превратился в «Чурляниса» (Чюрлёниса).

XX. **«Пароходы в море тонут...»** (стр. 572).— Впервые в *НЖ*, 1959, № 58, вместе со следующим ст-нием.

XXII. **«Строка за строкой. Тоска. Облака...»** (стр. 574).— Впервые в *НЖ*, 1960, № 59. Эпиграф — из ст-ния Г. Иванова «Свободен путь под Фермопилами...» (*Ст-58*). *...умирающий Пруст // Писал, задыхаясь...* — Марсель Пруст (1871—1922), творчество которого Г. Иванов высоко ценил, страдал тяжелой формой астмы. *И голубые комсомолочки...* — неточная цитата из ст-ния, указанного выше.

XXIII. **«Из спальни уносят лампу...»** (стр. 575).— Впервые — там же. Переработка довольно раннего ст-ния Г. Иванова, опубликованного в *Зв*, 1927, № 4:

Из детской уносят лампу,
Но через пять минут
На тоненькой ножке
Лампа снова тут.
 Как луна из тумана,
 Так бела и легка,
 И маленькая обезьяна
 Карабкается с потолка.
Маленькая обезьянка.
Мордочка — с кулачок.
На груди — шарманка,
На голове — колпачок.
 Садится на корточки и медленно вертит
 Скрипучую ручку шарманки своей.
 И грустная песня о розах и смерти
 Баюкает спящих детей.

XXIV. **«А что такое вдохновенье?..»** (стр. 576).— Впервые в *НЖ*, 1961, № 60, вместе со следующим ст-ием. Ср. вариант, опубликованный в *ВарТ-61*:

А что такое вдохновенье?
Так, будто вскользь, едва, слегка
Сияющее дуновенье
Божественного ветерка.

На мимолетную минутку
Дохнул, повеял, озарил —
И Тютчев пишет, словно в шутку:
«Оратор римский говорил».

Сияющее дуновенье // Божественного ветерка...— ср. в ст-нии М. Цветаевой «В черном небе — слова начертаны...» (1918): «...Нам знакомо иное рвение: // Легкий огнь над кудрями пляшущий,— // Дуновение — вдохновения!» Возможно, перечитывая незадолго до смерти Цветаеву (этому есть свидетельства, см. предисловие), Г. Иванов на какое-то время подпал под цветаевское обаяние. *Азраил* — ангел смерти в мусульманской религии. *«Оратор римский говорил...»* — из ст-ния Ф. И. Тютчева «Цицерон» (1829).

XXVI. **«За столько лет такого маянья...»** (стр. 578).— Впервые (в несколько измененном варианте) в *НЖ*, 1961, № 63. Печатается по тексту *СД*. В публикации *НЖ* первая строка выглядела так: «За сорок лет такого маянья...» В «Гранях», 1960, № 46, как отрывок из «Посмертного дневника», опубликован иной вариант этого ст-ния:

За тридцать лет такого маянья
По городам чужой земли
Есть от чего прийти в отчаянье,
И мы в отчаянье пришли.

Отчаянье — успокоенье
Как за глухой стеной тюрьмы —
Надежды, страха и волненья
Уж не испытываем мы.

XXVII. **«До нелепости смешно...»** (стр 579).— Впервые в *НЖ*, 1961, № 63.

XXVIII. **«Отчаянье я превратил в игру...»** (стр. 580).— Впервые в *Оп*, 1959, № 9, вместе с XXIX.

XXX. **«Теперь бы чуточку беспечности...»** (стр. 582).— Впервые в *Возр*, 1959, № 89, май, вместе с XXXI, в составе цикла «Посмертный дневник». Печатается по этому тексту. Ст-ние — переработка более раннего, опубликованного в *НЖ*, 1954, № 38 — т. е. еще при жизни поэта:

Ну да — немного человечности,
Клочок неснившегося сна.
А рассуждения о вечности...
Да и кому она нужна?

Ну да — сиянье безнадежности,
И жизнь страшна, и мир жесток.
А все-таки немного нежности,
Цветка хоть чахлый лепесток...

Но продолжаются мучения,
И звезды катятся во тьму,
И поздние нравоучения,
Как все на свете,— ни к чему.

XXXII. **«Вот елочка. А вот и белочка...»** (стр. 584).— Впервые в *СД*, вместе с XXXIV—XXXVIII (по машинописи И. Одоевцевой).

XXXIII. **«Если б время остановить...»** (стр. 585).— Впервые — «Русская мысль», 1971, 31 авг.

XXXVI. **«В небе нежно тают облака...»** (стр. 588).— *Портрет без сходства* — название сборника Г. Иванова.

XXXVIII. **«Поговори со мной еще немного...»** (стр. 590).— Как многие из поздних ст-ний Г. Иванова, обращено к И. Одоевцевой.

Георгий Мосешвили

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

СОДЕРЖАНИЕ

ЛАМПАДА

ВЕРЕСК

I. Стихи 1914—1915

САДЫ

I

II

РОЗЫ

ОТПЛЫТИЕ НА ОСТРОВ ЦИТЕРУ

1943—1958. СТИХИ

Портрет без сходства

Rayon de rayonne

Дневник

СТИХОТВОРЕНИЯ, ИСКЛЮЧЕННЫЕ ИЗ КОРПУСА АВТОРСКИХ СБОРНИКОВ ПРИ ПЕРЕИЗДАНИИ

СТИХОТВОРЕНИЯ, НЕ ВХОДИВШИЕ В ПРИЖИЗНЕННЫЕ СБОРНИКИ

Посмертный дневник (1958)

Иванов Г. В.
И 20 Собрание сочинений. В 3-х т. Т. 1. Стихотворения.— М.: «Согласие», 1993.— 656 с.
ISBN 5-86884-023-2 (Т. 1)
ISBN 5-86884-022-4

Творчество Георгия Иванова (1894—1958), на протяжении трех десятилетий «первого поэта русской эмиграции»,— одно из крупнейших литературных явлений XX века. Многие произведения, представленные в настоящем трехтомнике, публикуются впервые или перепечатаны со страниц периодических изданий, практически недоступных современному читателю. В первый том вошли стихотворения и избранные переводы.

И $\frac{4702010106—002}{8Д1 (03)—93}$ Без объявления **ББК 83. 3Р7**

ГЕОРГИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ИВАНОВ

Собрание сочинений в трех томах

Том первый

Стихотворения

Художественный редактор Т. Руденко
Технический редактор Е. Волкова
Корректоры Г. Заславская, Л. Кочетова
Ответственный выпускающий Н. Кутузова

Сдано в набор 31.03.93. Подписано в печать 14.07.93. Формат 84 × 108 1/32. Бумага офсетная. Гарнитура «Таймс». Печать высокая. Усл. печ. л. 34,44. Уч.-изд. л. 18,5. Тираж 15 000 экз. Заказ № 789.

АО «Согласие».

Пленки изготовлены на государственном ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Московском предприятии «Первая Образцовая типография» Министерства печати и информации Российской Федерации.
113054, Москва, ул. Валовая, 28.

Печать и переплетные работы произведены в типографии «Новости».
107005, Москва, ул. Фр. Энгельса, 46.